

ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ

Рукопись года

Жанар Кусаинова

МОЙ ПАПА КУРИТ
ТОЛЬКО «БЕЛОМОР»



Жанар Кусаинова
Мой папа курит
только «Беломор»

Серия «Люди, которые всегда со мной»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69291499

Мой папа курит только «Беломор»:

ISBN 978-5-17-155881-9

Аннотация

Перед вами сборник коротких рассказов. Они состоят из теплых и горьких воспоминаний о детстве, о любимых людях, о горном казахстанском поселке. Есть здесь и рассказы о Петербурге, сумрачном, туманном и все же сияющем городе. Герои этих рассказов – простые люди, обычные колхозники, горожане, дети, цирковые артисты, учителя, официанты, старики и старушки. Словом, все – мы и те, кого мы встречаем каждый день на улицах наших городов и сел.

Это истории о людях, которые навсегда остались в памяти автора книги, в ее сердце.

Содержание

Мой папа курит только «Беломор»	6
Про дядю...	9
1989	14
Обломки настоящей Берлинской стены	20
Они ели из его ладоней	28
Счастье будет всегда-всегда...	34
История про греков	37
Королевы в изгнании	42
Мальчик все-таки поймал огромную рыбу	48
Про сварщика	55
Зернышки и якоря	58
Имена	61
Письма	66
Вражеские голоса	67
Как вылечить с помощью словаря	74
Утешитель диких животных	76
Почувствуй себя любимой женщиной	77
Как хорошо, что вы меня не понимаете	79
И по всем каналам «Лебединое озеро»	80
Огрызок великой династии	81
И будет новая жизнь	88
Часы любили Давида	89
Про Кайрата и его бабушку	91

Человек-амфибия отправляется в космос	95
Я протянула ему в подарок отрубленную руку	99
Конец ознакомительного фрагмента.	101

**Жанар Батырхановна
Кусаинова
Мой папа курит
только «Беломор»**

© Жанар Кусаинова, текст, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Мой папа курит только «Беломор»

Мой папа курит только «Беломор». Привычка, многолетняя. Как я люблю этот запах, он меня успокаивает, и, как маленький рыцарь, защищающий меня от всяких бед, пачка «Беломора» всегда в моем кармане или сумке.

Без нее никуда не выхожу. Неприкосновенное, святое, неразменное. Это для папы, хотя мы с ним живем в разных городах и странах.

И все равно, что мы – чужие люди, у него – полжизни в тюрьмах, он вор в законе, авторитет, а у меня – все детство в интернате, он считает мои рассказы глупостью. И все, что делаю, – ерундой. Что за профессия такая – драматург?! И какая из тебя писательница?! Читал, ничего не понял! Скучно!

Когда мы вместе, то ругаемся, орем друг на друга, упреки-обиды (ты никогда, а ты всегда, ты опять, ты не можешь по-человечески, никогда тебя не прощу, как же я тебя ненавижу), а то и молчим тяжело – нам не о чем говорить.

Мы почти никогда не звоним друг другу, мы не поздравляем друг друга с праздниками, мы не пишем писем, не шлем посылок...

Мы чужие люди...

Но все равно, каждый мой месяц начинается с того, что я покупаю пачку «Беломора» (это для него, это для меня...).

А потом, когда бывает грустно, или больно, или радостно, достаю, глажу, вдыхаю запах, родной, знакомый с детства, и появляется чувство, что папа рядом, он защитит и все будет хорошо. А если и так все хорошо, то отец, конечно, разделяет мои радости, мы ведь друг другу...

А в конце месяца отдаю пачку нищему на углу. Так надо.

Нищие уже знают меня в лицо, привыкли, что раз в месяц им странная девица отдает пачку «Беломора». Когда видят меня, ждут, дежурно протягивают ладонь...

Вот сегодня утром я все перевернула, нет пачки: ни в сумке, ни в карманах. Нет, я не могла ее скурить, я не курю, я просто ношу в кармане.

Нет нигде, всех в коммуналке расспросила, никто не видел и не помнит. Дядя Юра – сосед мне свою принес, а мне не надо, мне надо ту, которая для папы, неразменная.

Глупость, скажете? Глупость, согласна. Но это мой кусочек дома, который далеко. Это мой медный гвоздик из родной стены, крохотулечный кусочек родины здесь, на чужбине.

Я металась по своей комнате, а надо было бежать, звали, искали меня в городе, звонили и требовали, чтобы я пришла. Работа – дела и так далее... А я не могла выйти... Я ведь без нее, как рыцарь без доспехов, я как без кожи...

И, наконец, махнула рукой, ну, видимо, так надо. Высшие силы решили так, зачем-то, почему-то. Неизвестно почему.

И вдруг папа позвонил. Из родного города, из другого ми-

ра.

Папа спросил строго:

– У тебя что-то случилось? Я уснуть не могу. Ты мне снишься, ты все мечешься, ищешь что-то. И карманы твои пустые.

– Нет, папа, – ответила я. – У меня все в порядке, только вот пачка пропала, «Беломора», которая тебе всегда, ты ведь знаешь.

– Ничего страшного, – ответил он. – Главное, что я знаю...

– Ага! Тогда я пойду?

– Иди, под ноги смотри, и прошу тебя очень, не тусуйся со всякой шушерой, типа твоего Костика...

И снова поругались!

Все-таки мы чужие люди... Не понимаем друг друга...

И для меня начался день. И был он легким и самым счастливым. Я ведь рыцарь, чьи доспехи никогда не заржавеют и не пропадут, ведь даже если я потеряла эту чертову пачку, не важно – главное, что папа всегда знает.

Про дядю...

Вспоминается разное. Вот был у меня дядя Марат (цирковой артист), помер лет пять назад, редчайший бабник. Такой бабник, что если открыть энциклопедию на слове «бабник», то там можно увидеть его фотографию.

Нет, не красавец! У нас в роду с эффектной внешностью как-то грустно, очень грустно. Ну, такой он был, как бы помягче сказать... не то чтобы некрасивый, но вот было в нем что-то такое...

Он, если по правде говорить, темпераментный был мужик, и в окна лазил, и цветами подъезды заваливал, и шампанского ванны устраивал. И цыганский хор под окнами, и все такое. Женщины любили его. Вешались на него, гроздьями.

Детей у него было немерено, и каждый карапуз – самый любимый.

В цирке работал, в джигитовке, на конях делал смертельные трюки. Без страховки. Легкий был человек, веселый, анекдотов знал море. Все к нему тянулись. Все его любили. Бывают такие люди-праздники, с ними и версту на морозе, без куска хлеба – как радость.

Хохотал он так, что просто стены тряслись, фокусы показывал, часов не носил, в зеркало не глядел, морщин не считал. Дарил щедро, никому не мстил.

Только грустил он порой, а чего грустил, никогда не скажет. Ты ему: «Дядя, чего ты?» А он отмахнется да нальет всем вокруг вина.

Учил меня пить вино и ценить его. Говорил, что вино – лучший собеседник для человека... если внимательно прислушиваться к себе после глотка.

А еще у него была коробка – магнитофонные записи. Там голоса разных людей, с кем судьба свела. Песни какие-то, чей-то смех.

И другая коробка пыльная, где – фотографии. Дядя сам голоса записывал и людей фотографировал. И самое важное, самое ценное из прошлого, уголок какого-то разорванного письма. Там строчка была, помню наизусть: «Посмотри на меня, я буду сидеть в пятом ряду, в красном платье! Я же приехала! Ты меня правда ждал?»

Я часто спрашивала, что это? От кого это? Откуда? Дядя говорил, что это главное, самое главное в его жизни. И больше ничего. Никаких подробностей.

А когда мама болела и лежала в больнице, а папа в это время опять оказался в местах не столь отдаленных, дядя забрал меня к себе, в цирковую общагу. Там открылось и поразило меня, что быт у дяди неустроенный, и живет он холостячки, и не так молод, как мне кажется, и что на самом деле он грустный, стареющий, лысеющий человек. И анекдоты у него старенькие, и он всем рассказывает одно и то же, крутится в узком репертуаре, и зубы у него вставные.

Человек-праздник растворился в воздухе, распался в прах. Дед Мороз умер.

И, к сожалению, были запои, дядя пил так много, что даже из цирковой общаги его выперли за аморалку. Это все равно как если бы самогонщики перестали с вами общаться, потому что вы, пардон, пьяница.

И нас вышвырнули. Идти оказалось некуда. Бабы все заняты (работа, замужем, новый любовник, уезжая в командировку, и как ты смел, после стольких лет вдруг свалиться как не знаю что на мою голову...), и никто из них не хотел видеть его с ребенком.

Верные друзья – цирковые оркестранты – помогли. Мы жили втайне от начальства (которое, разумеется, все знало, но делало вид, что ни сном ни духом) в оркестровом гнезде.

Там спали, ели, чистили зубы, готовили еду с кипятильником, я делала уроки, перед сном играли в морской бой, стучали в тарелки и треугольники. Носили музыкантам ноты, перелистывали их, старались не высовываться во время представлений.

Не помню, сколько мы там жили, может месяц, может два. Очень скоро научились мыть голову в раковине и сушить ее как феном сушилкой для рук, засыпать под любой грохот, и как-то мы прижились.

Впрочем, жизнь тогда казалась бредовым сном, возвращаешься из школы домой, а дома – цирк, в прямом смысле, круглыми сутками. То репетиции, то представления.

Кончилось все тем, что дядю простили. Он вернулся в джигитовку, в общагу. Бабы тоже стали проситься назад – ну прости меня, прости, ну чего ты, ты же добрый, ты всегда прощаешь... Мама вылечилась, и ее выписали, и она забрала меня.

А я решила не выдавать его тайны, чтобы он для всех оставался человеком-праздником. Это у вас Дед Мороз умер, а у нас в квартире – газ! И поэтому я радостно смеялась его шуткам и байкам, которые за жизнь в оркестровой яме успела выучить настолько хорошо, что могла сама исполнять на бис. Я кричала, как здорово мы жили все это время с дядей. И врала родителям, какой он любимый и прекрасный. (А может, и не врала?)

Дядя молчал и улыбался виновато.

Мама, вернувшись из больницы, накрыла стол, и мы сели угощаться. Но дяди не было, он вышел во двор, вроде как за квасом. Нет и нет его... Наконец мама послала меня за ним. Выхожу, а он стоит и курит нервно, и слеза на щеке.

Дома не построил, деревья не посадил, да и дети разбрелись по всему свету, отца толком не знают...

Он стоял и курил, а я стояла за ним и не понимала, что делать...

Действительно – что?

Когда он умер (а это было ранней весной, земля еще мерзлая), очень много народа пришло... Женщины и дети его, и музыканты те, и старенькие цирковые артисты – все друзья

его. Женщины плакали, дети спрашивали, где папа.

Музыканты курили, артисты курили, женщины курили, мы курили, дети просились по-маленькому.

Могильщики копали. А потом оказалось, что закопали не там, на чужом участке. А наш – совсем другой. Перепутали с однофамильцем. Ошибка вышла. Могильщики потребовали еще денег. Чтобы не спорить, не торговаться – вроде и не время и не место, – пришлось дать, сколько просили.

А скандал все равно завязался. Там, где деньги, там всегда...

Мама плакала: даже уйти по-хорошему не ушел! Вечно надо шутки свои шутить!

Вечером я зашла в его дом поискать коробку с записями, нашла только кучу пепла, голоса были уничтожены. Сам ли сжег, или случайно вышло, не знаю.

Обрывок того письма, самого главного, про красное платье, сохранился, он у меня до сих пор есть, только я никому его и никогда не покажу. Пусть ничьи глаза не видят эти строчки, если глаза моего дяди не видят их...

И не важно все это – про дом, дерево и сына...

Он был собой. Это самое главное. Он все-таки был праздником. И дом его был домом, даже если это не дом вовсе, скажете, а цирк!

1989

Вот бы сбежать в Алма-Ату 1989 года. Самый счастливый год в моей жизни, самое счастливое место моей жизни.

Да и остаться там навсегда.

Особенно нравился вечер, когда был концерт группы «Кино». И когда Цой заходил в наш цирк и общался с Марусей, дядиной кобылой.

Еще хочу посидеть в блинной у парка, не помню, как называлась. Там работала тетя Танк, в миру Ангелина Ардовна, она часто была подшофе.

Однажды на спор накрыла на своей груди «полянку»: салаты, фузеры, вино и мороженое в металлических чашках.

Да, это была самая огромная грудь в моей жизни.

Ангелина как-то поспорила с Нюркой Рыжей, высоченной бабенцией, бывшей проституткой (она, кстати, умела держать на носу лампочку, ставила себе на нос, и та мгновенно загоралась, и не гасла, и не падала). У Нюрки не получилось полностью накрыть полянку. Салатики не поместились.

Груды торчали во все стороны. Упругие, как молодые поросятки. Такие же теплые и розовые.

А весь этот спор, вся эта грудная дуэль была из-за местного сердцееда, одноглазого Виктора Борисыча, бывшего летчика, который крутил то с одной, то с другой. И никак не мог определиться. Все смотрели на дуэль и восхищались. Стра-

сти кипели.

И я тоже смотрела и восхищалась. Мне было десять лет.

А мужчины цокали языками, мол, какие красавицы. Это была единственная грудная дуэль в моей жизни.

А еще однажды нам с дядей Маратом пришлось ночевать в зоопарке. (Это был очередной случай, когда дядю выгнали из циркового общежития за пьянку и меня вместе с ним.)

И вот в ту ночь слону и слонихе захотелось любви.

Это как если бы два грузовика приласкали друг друга. Ну, или две горы...

Столько нежности и страсти я никогда больше не видела.

У слонов после любви были огромные влажные глаза, они сияли, они светились.

И голоса у них были сначала трубные, а потом бархатные. Слоны шептались, если про слонов можно так сказать – «шептались».

Гора ласкала гору теплым хоботом, гладила по уставшему хребту. А вокруг сырая осень и скоро зима.

А еще помню сумасшедшую девушку, бывшую манекенщицу, с обожженным лицом (месть какого-то ревнивца).

Ранними утрами в течение всего года она голая купалась в озере, недалеко от Космостанции. Волосы ее текли по телу, золотые и тонкие.

Она плыла в ледяной воде и пела...

И зимой, и летом, плыла и пела...

Где жила, не понимаю, появлялась из воздуха, а потом ис-

чезала в воздух.

Аквалангисты падали в обморок, встречая ее на глубине.

А еще, в тот же год, у нас помирала княжна Давлиани (кажется, так ее фамилия, мы несколько месяцев жили у нее). Она была старше самой революции.

Она в то время несчастно и безответно любила сантехника Федьку, того самого, который организовывал в Алма-Ате сборища уфологов. Искал контакты с инопланетным разумом, крутил какой-то агрегат и все ждал, когда же ответят.

И вот так и получалось, сантехник не звонил княжне, инопланетяне не звонили сантехнику.

У княжны падало давление, повышались сахара, она принималась помирать. А помирала она настолько скучно, нудно и убийственно утомительно, что мы с дядей сами были готовы полюбить ее вместо сантехника, лишь бы она перестала умирать.

Но нашей любви она не хотела. И продолжала заламывать руки и бледно глядеть в окно.

– Дядя, я застрелюсь, если она не прекратит, – шепнула я дяде.

И тогда он стал звонить княжне и молчать в трубку. А потом, слушая удивленную княжну, сетовал, мол, сантехник все не может решиться, он волнуется, он не находит слов, он как трепетная лань. Да, такая сантехническая, уфологическая трепетная лань.

Княжна была удовлетворена, трогательное молчание

влюбленного сантехника утешило ее, и она перестала умирать и еще дней тридцать не делала этого.

А однажды дядя напился и перепутал. И вместо княжны набрал номер Федькиного агрегата. Федька обрадовался: ура! Марсиане!

Федька стал нести какую-то торжественную чушь: вас приветствует гражданин СССР, вы звоните в Алма-Ату, у нас тут житница и здравница, мы социалистическая республика и прочее.

Дядя оторопело молчал в трубку, а потом ее повесил.

Ну а что он мог сказать на такое?

Федька потом радостно кричал на всех перекрестках, что ему, наконец, ДА, позвонили!

Он потом ждал звонков, как дети Снегурочку с Дедом Морозом.

А когда инопланетяне не звонили, Федька пил и болел. А когда он пил и болел, княжна начинала умирать. Потому что любила его. А когда она умирала, я от тоски и скуки била камнями витрины в соседних магазинах, а дядя хватался за сердце, с ужасом представляя, что было бы, если бы меня поймали все-таки и упекли бы в колонию.

А потом, надержавшись сердца, дядя как подорванный бросался к телефону и звонил то княжне, то Федьке, и телефонистка с почты думала, что мой опекун свихнулся, потому что он каждый божий день звонит куда-то и молчит.

А Федька, вместо того чтобы слушать космическое мол-

чание дяди, все время что-то рассказывал – то о человечестве, то о цивилизации, то об удоях и яйценоскости. Он азбуку нам читал, потому что думал, что мы, инопланетяне, хотим выучить человеческий язык. (Ага, еще бы!)

А однажды он стал рассуждать о своих знакомых и сказал между делом, что мой дядя – бабник и пьяница горчайший и что его цирковые достижения – полная мурня.

И вот тогда дядя бросил трубку и перестал звонить.

И мы стремительно ушли от княжны.

Княжна некоторое время поумирала и потом влюбилась в энтомолога. И собирала с ним всяких жуков, жуки ели княжну, она была вся покусанная, но счастливая.

А Федька поныл, попил, но вскоре на него снизошло, и он открыл в себе дар общаться с духами умерших. Поселился на кладбище и доставал покойников своими торжественными речами. Но, видимо, он довел и их, потому что однажды ночью он сбежал оттуда, весь в синяках и ссадинах.

Мистики в Алма-Ате долго еще говорили об этом случае.

А сторож кладбищенский завел себе новую метлу, потому что прежнюю он сломал об Федьку, когда выгонял его с обиталища для усопших. Но говорить про это было нельзя, потому что мистики и Федька обижались и кричали, что это чушь! Что контакт с потусторонним миром все-таки был установлен! И все такое в таком духе.

Там еще много чего было в моем любимом 1989-м.

И много еще чего там остается.

Вот только меня там нет.

А жаль.

Вот бы сбежать туда, навсегда!

Обломки настоящей Берлинской стены

Это случилось пару лет тому назад, когда в Алма-Ате умер мой дядя – цирковой артист. Я прилетела из Санкт-Петербурга на похороны. Печальные клоуны – его друзья – встретили меня.

После поминок выяснилось, что единственное мое наследство – это старенький чемодан с **НАСТОЯЩИМИ ОБЛОМКАМИ НАСТОЯЩЕЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ**.

Дело в том, что, когда она рухнула, в том самом месте были друзья моего дяди. Они, зная, как он любит всякий хлам и отходы, ой, то есть исторические ценности, набили этим строительным мусором, то есть ценностями, мешок и подарили ему.

Дядя был счастлив. Он одаривал этими роскошными камнями и кирпичами всех встречающих и поперечных. Те радостно улыбались и втихомолку выбрасывали сокровища в ближайшую урну. А некоторые нежно и тепло берегли.

Однажды, помню, мы с дядей на лошади Тамаре мчались по улице, нас тормознули гаишники за превышение скорости или недостаток лошадиных сил – точно не скажу. Дядя умудрился расплатиться с ними камнями и билетами на вечернее представление.

По-моему, все гаишники, которые только водились тогда в Алма-Ате, побывали на нашем представлении.

А еще эти камни с удовольствием брала одна из его бесконечных САМЫХ любимых женщин, художница по специальности. Она делала из них инсталляции и какие-то композиции. Они расходились среди туристов как горячие пирожки. Это помогло ей вылезти из долгов и отремонтировать свое старенькое жилище.

А ещё был дяденька, который эти камни грел, а потом ими, нагретыми, лечился, когда у него спина болела. Мы, конечно, ругали его за самолечение, но дядька утверждал, что только эти камни, НАСТОЯЩИЕ ОБЛОМКИ НАСТОЯЩЕЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ, его и спасают.

Тем не менее сокровищ оставалось еще очень много, и мой дядя спрятал их в свой старенький чемодан, время от времени доставал их оттуда и дарил. Так мы и жили.

И вот, многие годы спустя, когда я стала большая и взрослая, он умер. И вот сижу я в аэропорту, рыдаю, в руках мокнет билет на рейс до Питера, а у ног стоит тот самый чемодан.

Таможенники заглянули в него и спросили:

– Это что такое?

– Наследство, – грустно вздохнула я.

– В смысле? – не поняли таможенники.

– Это НАСТОЯЩИЕ ОБЛОМКИ НАСТОЯЩЕЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ, – ответила я.

– Фигассе! Быть такого не может, – сказали они и стали

работать.

Они проверили эти камни-обломки рентгеном, но ничего не нашли – ни драгоценных камней, ни золота. Потом они дали понюхать их собаке, которая наркотики в аэропортах ищет. Собака понюхала, взглянула с грустью на таможенников – мол, вы что, меня за дуру держите? – и, брезгливо покрутив носом, отошла.

Камни били, кололи, сверлили. Самолет мой давно улетел, да и не до него мне было. Я сидела на лавочке и думала о дяде, о наших общих историях, о том, «как молоды мы были, как искренне любили»...

Ко мне подошел один из сотрудников таможни и предупредил:

– Мы решили пилить ваши камни.

– Пилите, Шура, пилите. Только они не золотые, – кивнула я.

Их распилили. Нашли в камнях середину камней. Тяжело вздохнули и положили обратно в теперь уже мой чемодан.

Вызвали специалиста, такого очень специального специалиста. Он внимательно их осмотрел и стал чесать репу, имеют ли эти камни историческую ценность. Чесание репы ничего не дало, кроме того что репа стала болеть. Так ведь сколько раз твердили миру: если вас беспокоит Гондурас, не чешите его, а то вспухнет!

Так вот, позвонил этот специалист в немецкое посольство:

– Вам НАСТОЯЩИЕ ОБЛОМКИ НАСТОЯЩЕЙ БЕР-

ЛИНСКОЙ СТЕНЫ не нужны?

На том конце провода ойкнули, икнули и вздрогнули. А после ответили:

– У нас этого гуталину!.. Короче, не нужны.

Мне вернули чемодан с камнями и отправили в Питер. Рейсов в тот день уже не было, только один с какими-то спортсменами, которые летели в питерский холод с рапирами наперевес, защищать ум, честь и совесть нашей эпохи.

Мне решили выписать билет взамен утраченного. Разговор в кассе:

– Так ей какой рейс выписывать?

– Ну давай вот этот, – называет какие-то буквы и цифры.

– Так такого рейса в природе не существует!

– А что теперь с ней делать? Я вот, например, думал, что таких дур не существует! Подумать только, тащить такой хлам через всю страну! Нет, она точно больная...

И все-таки я кое-кого одарила этими волшебными камнями. Иначе не могла! Ведь когда открыла чемоданчик с наслідством, то первое, что обнаружила, это записку, дядиной рукой написанную: «Ничего себе не оставляй, раздари все!»

Пару камней я подарила «специальному специалисту», который бился над их исторической ценностью. Он, как сообщник в преступном деле, подмигнул мне, мол, я-то все понимаю, они действительно золотые!

«Ага!» – подумалось мне.

В Питере в аэропорту у меня какие-то люди пытались стырить чемодан, подняли с земли, охнули, опустили назад, на планету.

– Это чего у тебя? Камни? Кирпичи?

– Да! – честно ответила я. Открыла, показала, и у них отвисли челюсти.

– Ты дура, да?

После в Питере я тоже раздаривала свои сокровища. И они каким-то непостижимым для всех образом делали их владельцев счастливыми. Одна моя приятельница взяла булыжник, нацепила на него сермяжную веревку и стала носить как украшение.

– Вот с брульянтами все ходят, с бижутерией там, а с булыжником только я. Круто, да?

Немудрено, что с ней, дамой с булыжником на шее, практически тут же познакомился потрясающий парень – как оказалось, любовь на всю жизнь. Он думал, что она топиться пошла, а она нет, просто погулять вышла. Счастье огромное, двое детей. Еще один товарищ шел с этим обломком кирпича и нашел себе пару, даму сердца. Она по улице шла, у нее каблук сломался, ну так он и подошел и замахнулся на Вильяма нашего Шекспира. Постучал пару раз – и туфелька целая. А дальше дело нехитрое. Один классный парень с помощью этой хрени нашел себе тему для диплома, сдал на отлич-

но. Еще один нашел работу. Пришел в рекламное агентство, креативить, положил его на стол и стал рассказывать, как он намерен продавать это добро. Кстати, пару камней мы потом подарили сотрудникам этой конторы. Они купить пытались, так нет же! Дядя сказал раздарить – значит раздарить.

Был случай, когда благодаря этой фигне помирились муж и жена, которые уже разводиться решили. Муж приволок камень домой.

Жена воскликнула:

– Это еще что за хлам?

– Куросава подарила! Это **НАСТОЯЩИЙ ОБЛОМОК НАСТОЯЩЕЙ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ!**

– Ой, а ты знаешь, я ведь однажды бывала в Берлине.

– Расскажи! Никогда не слышал.

Они сели и поговорили. А потом еще посидели и поговорили. И еще. И снова. И вдруг поняли, что зря они разводятся, что им хорошо вместе.

И еще одна девочка взяла это на память и теперь использует в качестве утяжелителя для прыжков с парашютом. Ни одной травмы! И новичкам дает как талисман, чтобы не боялись...

А еще я подарила несколько этих камней одной маленькой девочке. Родители сначала ругались: что ты такое даришь, у нее же астма и прочее. Аллергия, там, на пыль. Так мы с малышкой вымыли камни с мылом от пыли, взяли краски, и она стала расписывать их. Красота-то какая! Папа-мама сра-

зу поняли, что у нее талант, сами камни собирать начали, вместе с дочкой, на берегу Финского залива. Дочку, кстати, в художку отдали, и чувствует она теперь себя гораздо лучше. Раньше все время дома сидела, а теперь каждый выходной – на Финский.

И многое-многое другое хорошее случилось благодаря этим камням. Я сегодня последний подарила, одной девушке, которая плакала, потому что ее мальчик не любит. Подарила и рассказала, что, чего и к чему, она перестала плакать, а камень в сумку положила. Вот и ушло мое наследство. И хорошо. А чемодан – знакомым клоунам. Говорят, отличный, старенький, года 1933-го, наверное. Полмира прошедший, войну мировую и славу цирковую повидавший, им он кстати, чтобы равнялись на крепость его. Старенький, а еще в ряду, не ломается, не рушится.

У кого-то есть время разбрасывать камни, у кого-то собирать, а у меня было время раздаривать их, а сейчас буду вспоминать камни. И их истории.

Грустно немного. И жаль, что все так быстро кончилось. Одна моя подруга позвонила, говорит, что мне надо бы написать серию рассказов про судьбы каменные, ведь у каждого камня своя судьба.

А еще я прочитала в Интернете, что на самом деле стена была не из камней, а из бетонных блоков, получается, что надули моего дядю. Или нет?

Впрочем, уже неважно.

Главное уже случилось. И продолжает случаться.

И все такое прочее...

Они ели из его ладоней

Сегодня я шла по улице, а мимо меня пробежал какой-то невысокий мужчина в черной шляпе, как у моего дяди. Дядя Марат любил моря, пустыню Каракумы, обожал Прибалтику и бесконечные просторы России. Работал в цирке, был прекрасным джигитом, делал трюки на конях, лошади ели из его ладоней, женщины не сводили с него глаз, дети мечтали быть похожими на него.

Он всегда улыбался, такой грустной и светлой улыбкой. Он ненавидел уколы и манную кашу и обожал, когда белый говорящий попугай сидел у него на плече. У нас часто бывали гости и часто оставались ночевать, повернуться в нашей комнате было негде, и мне приходилось спать на сундуке с реквизитом, обнимая его кинжалы и шпаги...

Однажды его выгнали из цирковой общаги за пьянство. А все болтали, что из-за ревности, потому как жена одного из цирковых начальников положила на него глаз.

Но друзья не бросили нас. И нам выделили место в оркестровом гнезде. Впрочем, про это я уже рассказывала.

Нас вскоре вернули назад в общагу, наверное потому, что я слишком часто роняла учебники и тетрадки на тигров и клоунов внизу и срывала тем самым номера. А еще, наверное, потому, что дядины постиранные штаны висели и сушились по всему оркестровому гнезду. А еще дядя неверо-

ятно храпел. Так, что заглушить этот храм был бессилён даже оркестр.

Мой дядя любил женщин, и они его любили. Когда он умер, они прилетели на кладбище – печальные птицы с его детьми. И те, что при его жизни не могли его поделить, теперь сроднились и смирились, стояли печальные, утирая друг другу слезы. А его детей выделяли черные кудри, которые частенько бывали в нашем роду, – мелькнут у кого-нибудь, непокорные и вздорные, и исчезнут.

Красота – она такая: мелькает, как лунные блики на озере в сумеречное время.

Однажды в Душанбе нас ограбили, какие-то сволочи отняли наш чемодан, в котором было всё: и обувь, и одежда, и деньги, и документы. Это было ещё во времена СССР, на самом краю, в перестройку. И после этого мы шатались по улицам босиком, он показывал фокусы на рынке, а я собирала дань со зрителей в его неубиваемую черную шляпу.

А потом мы купили арбуз и ели его руками у какого-то фонтана. Это было ещё в те дни, когда в Таджикистане никто и не думал, что когда-нибудь здесь будет война.

Мой дядя всегда смеялся, шутил, любил выпить, любил танцевать, любил плавать, любил шататься по барханам, любил степь, любил упасть лицом в ковыль и слушать голоса птиц, любил горы, их прохладу и пропасти.

Любил, любил, любил, любил...

Любил дарить – щедро швырял свои дурацкие богатства

всем встречным-поперечным.

Обломки настоящей Берлинской стены, камни с берегов всех морей, на которых он бывал, тельняшка с Тихого океана, где он служил.

– Ты представляешь, Тихий океан – это столько воды! Когда я увидел, я просто в обморок грохнулся: после наших пустынных степей столько воды!

Тонкие перья павлинов, яркие татарские серьги, бесконечная россыпь прибалтийского янтаря, рука манекена, найденная на Красной площади, карты старинные, на арабском языке, справочник телефонный на китайском и всякая другая дребедень.

Он любил собирать хлам и дарить его всем, кому этот хлам понравится.

Он легко получал вещи и легко расставался с ними. Легко добивался женщин и легко уходил от них. И все-таки у него была одна, которая навсегда. Тайная дева, чье имя никогда не будет открыто. В память о ней осталась только прядь светлых волос в медальоне на груди...

Помню, всегда буду помнить, как мы лихо и счастливо мчались автостопом из Таджикистана домой. На разных машинах, даже на телегах и пешком. Один раз нам пришлось ехать среди каких-то кур, они кудахтали, суетились и клевались. Куры – злобные и жестокие. Больно клевались, да.

Мы были счастливы, купались и загорали, дурачились и сходили с ума. Больше никогда ни с кем мне не было так

весело и легко. Смешно и радостно.

Он баловался, как ребенок, ей-богу.

Черные кудри постепенно серебрила старость, горящие глаза тускнели.

Его знали все – стоило нам выйти на улицу, как тут же его окружали друзья, знакомые, которых он порой толком и не помнил. Но это не мешало ему по первой просьбе, по первому звонку лететь на помощь, если надо – к кому-то, куда-то, зачем-то.

И все же какая-то трещинка проходила по его сердцу, там, где в медальоне хранилась эта светлая прядь.

Он любил – и его любили. Он отзывался – и на его зов шли. Он старался сделать счастливыми тех, кто рядом, и это у него получалось легко: одной его улыбки было достаточно. Но... вот только эта светлая прядь, память о чем-то, о ком-то, что-то, мне неизвестное...

Трещинка на всю жизнь. Такое бывает. Вроде все хорошо, и день как день, а нет, не то все это. И ты не ты, и жизнь тебе не жизнь, а все потому что...

К нему тянулись, липли. Шли с бедой и горем, со счастьем и отчаянием. Он всех утешал, давал надежду, все чужое хранил у сердца, сам не имея и толики покоя. Я-то знаю, я помню, как тяжело вздыхал ночами самый счастливый человек на земле, тот, кому завидовали все люди в городе. Я-то слышала это, видела, как долго-долго он курит, задумчивый и сбитый с толку, как ребенок, которого мама потеряла в пу-

стыне, в темноте, и никогда не найдет.

Однажды, когда я получила в первый раз в жизни двойку в школе, а потом в тот же день подралась с одноклассниками, я приползла домой в соплях, слезах, синяках и жутком горе. Я рыдала, как все женщины из бразильских сериалов, вместе взятые. И что, вы думаете, сделал мой дядя?

Он торжественно сжег мой прекрасный дневник и устроил для меня праздник. Учись держать удар!

У него был приятель, сторож в луна-парке, и они ночью включили для меня все аттракционы, и все это было только моим. Качели, карусели и прочее. Вы когда-нибудь ночевали в чертовом колесе? Хоть разок? Я – да. Нет ничего лучше, поверьте мне! Ты спишь, а оно крутится, крутится...

В ту ночь я объелась сахарной ватой, и мне было классно. Поэтому, наверное, следующие драки, двойки и прочие огорчения моей жизни были не так страшны.

А ещё я боялась учителя по математике, настолько, что при его виде задыхалась от ужаса. И что придумал мой любимый дядя?

– Представь себе, что он мелкий, как гном, а разве ты боишься гномов? Нет же! Так вот, берешь мысленно его за шкурку и сажаешь вот в эту банку, а банку – под кровать. Разве ты боишься гнома, который не может вылезти из банки?

Так что у нас под кроватью и на подоконнике, на столе и

под столом, на раскладушке и под нею было полно банок, потому что боялась я не только учителя по математике. Но никогда больше я не умирала от ужаса. А когда дядя приходил за мной в школу, у него всегда с собой была запасная банка.

Для меня, чтобы я стала смелой.

Моя маленькая ладошка в его большой ладони...

Счастье будет всегда-всегда...

Однажды мы с дядей (для тех, кто не знает, он был очень посредственным цирковым артистом, делал трюки на лошадях, джигитовку) шатались по Казахстану, ездили куда-то, по селам-аулам, дядя и его друзья давали дешевенькое представление, немного гимнастических номеров, фокусы и пантомима. Мы таким образом зарабатывали малую копейчку и были довольны.

Была зима, скоро Новый год, и казалось, что счастье будет всегда-всегда.

И вот однажды мы набрали на какой-то брошенный лагерь, бывший лагерь, тот самый.

Машина сломалась. Мы развели костер. Уже темнело.

Дядя ломал доски в барачной постройке, на костер.

Прямо на стене в бараке были надписи. Вошла, стала читать, светила фонариком. Там были имена, фамилии, даты, молитвы на разных языках, какие-то проклятия, матерщина. Кто-то рисовал кого-то. Глаза, губы, уши торчат смешные.

Позывные с того света. Позывные о жизни и о смерти. Мне теперь часто снятся те надписи. Часто-часто.

– Не ломайте, пожалуйста, – сказал мужской голос. Он прозвучал откуда-то со стороны. Мы обернулись. Перед нами стоял пожилой человек, глубокий старик. Мне было десять лет, шел 89-й год. Помню отчетливо этого человека.

– Здесь был барак. Здесь были мы.

– Вы здесь жили? – я брякнула детскую глупость.

– Мы здесь умирали.

– Простите, – сказал дядя. И перестал ломать.

– А как же мы? Мы ведь замерзнем, нам негде ночевать.

Машина сломалась, и куда же мы денемся? С нами ребенок, – возразил дядя Юра, наш друг.

– Вы можете побыть эту ночь у меня. Я живу недалеко, – ответил старик.

Мы сделали факел. Мы шли через эту бесконечную ночь.

– А чем вы там занимались, до лагеря? – я донимала старика. Дядя шикнул на меня, мол, замолчи, что ты несешь! Я испугалась и замолчала.

– Я был актером. Знаешь, кого я играл? Гамлета!

– Ну и что! Гамлет в соседнем доме живет! Он мои ботинки чинил. Его все знают. Чего там играть, – вздохнула я разочарованно.

– Я играл другого Гамлета. Быть или не быть... вот в чем вопрос.

Старик говорил тихо-тихо. Его седые волосы светились в лунном сиянии. Снег кружился, падал на плечи...

– Быть или не быть.

Не было крика, не было ора, был только шепот. Тяжелый, раздумчивый. И вся жизнь в этих словах... Все ее тяготы и трудности, итог, все-таки быть...

Быть или не быть. Но меня до сих пор качает... даже

не могу сказать... не могу успокоиться. Просто помнится... Волнует меня все это.

Представила: какой-то крохотный провинциальный театрик. На сцене – молодой актер. И этому человеку всего ничего лет...

А теперь он глубокий старик, и жизнь прошла, а на что ее потратил?..

– А хочешь, куклу подарю?

– Ага.

Он достал из карманов какой-то листок бумаги. Сложил из нее смешного человечка. И носовой платок дал. Будешь заворачивать, баюкать.

– А как мы назовем его?

– Леша!

– А что он любит есть?

– Жареную картошку!

Игра началась... Актер всегда остается актером. А игры никогда не кончаются...

История про греков

Это случилось в маленьком поселке, когда мне было лет восемь-девять. Помню отчетливо двух пожилых людей, Софию и ее мужа Михаила. Они были греки. Воспитывали внука, маленького Лешку, моего ровесника. Лешка Георгиади очень гордился тем, что он грек. Показывал мне журналы и книги с античными статуями и храмами и восхищался: «Это мы построили! А что римляне? Римляне позже появились».

Я смотрела на сходство античных профилей с профилями моих соседей и думала: «Надо же! Значит, и правда из тех времен происходят! Вон носы какие! С горбинками! – Печально трогала свою кнопку и грустила: – Ну зачем я не грек!»

Античные храмы и степь бескрайняя вокруг, только линия горизонта как линия жизни.

Греки.

Белые стены чистого дома, руки в морщинках от тяжелого труда. Молчание и глубокое погружение в земельные дела.

– Говорят, что когда их переселяли к нам, в вагонах, это еще ТОГДА было, очень много греков померло, их тела прямо из поезда в степь бросали. Грызли степные волки греческие кости. Вечная память. Светлый покой. Сильные люди, мужественные, никогда не сдаются, – моя бабушка шепотом рассказывала про соседей. – Ты с ними водись, может, и те-

бе от них достанется силы и смелости. В жизни такое всегда надо.

Греки сажали сады, виноградники, строили беседки, месили руками глину, пекли хлеб. И всё молча, без лишних слов. Солнце встало – значит, пора работать, солнце село – значит, пора отдыхать. Молча.

А во дворе у них стояли жернова, два каменных круга. И ослик крохотный, старенький, он все ходил по кругу, набил колею, тянул шею, молот муку.

София, седенькая и горбатая от старости, тщательно отбирала зерна пшеницы.

Все знали, что у греков самая лучшая мука в поселке.

И фрукты самые лучшие, и цветы. И виноград!

А ведь вокруг только каменная степь, только пыль да полынь, и вода здесь жесткая. И ни у кого ничего не растет! Только у греков!

А греки покрывали свои саженцы тканями, чтобы от пыли сберечь, укутывали каждое яблоко марлей, как ребенка. И все молча, без лишних слов.

Тщательно, долго, погружаясь в мысли, в тишину, вспоминая нечто, что нам не понять. Какие лица они видели в своих грезах, чьи ушедшие голоса слышали?

Грызли степные волки греческие кости...

И только иногда бросят друг другу неизвестное мне гортанное слово.

Морщинки на руках, морщинки у глаз.

Солнце встало, значит, пора работать. Солнце село, значит, можно отдохнуть...

Жить просто. Жить трудно. Быть живым – больно.

Говорили, что они навечно к нам выселены, что никогда им отсюда не уехать домой. И что дома у них берег моря, и что там горы и острова. Как в кино.

А вокруг степь, только линия горизонта как линия жизни. Не прерывается никак, кажется бесконечной и вдруг обрывается, когда сумерки и ночь.

Жизнь всегда такая, кажется бесконечной, и вдруг ночь.

Моя бабушка (крымская татарка) говорила, что и правда, крымские греки на берегу Черного моря жили, она и сама там когда-то жила. И видела их свободными людьми, еще до войны, когда сама была маленькой.

По-настоящему свободными людьми.

Она говорила, а соседи цокали языками. Надо же как! Жить у моря! Нам и не представить такое.

Маленький ослик все ходил по кругу, молол муку. Упорный и уставший, все по старому кругу.

Старик Михаил носил мешки, София отбирала зерна. Солнце было высоко, наше жаркое, безжалостное солнце. Оно никогда никому не дает покоя. Вытягивает соки.

Лешка сказал мне как-то по секрету, что однажды они вернутся домой, туда, где Крым! Туда, где море и берега! Это ведь их земля, это они все там построили! Только осталось ждать, когда будет можно.

Прошло несколько лет, и греки уехали. Туда, куда рвались всем сердцем. Это был 1991 год. Лешка собрал все свои книги, вещи, греки прощались с нами. Они накрыли стол, щедрый и богатый. Они, те, что экономили каждый грош, в тот прощальный вечер чувствовали себя самыми счастливыми, самыми роскошными миллионерами на земле.

У них было нечто большее, чем деньги! И большее, чем роскошь!

Они уезжали домой.

Туда, где Крым.

Вот что у них было! Это дорогого стоит!

Особенно если мечтал вернуться домой всю жизнь.

Они быстро продали свой домик, свой садик и ослика.

София наказывала ослику по-доброму служить новым хозяевам и не упираться. Она просила прощения, что не берет его с собой: «Жаль, что в поезд тебя не пустят. А нам еще с поезда потом на самолет».

Ослик молчал, он все понимал, он был как грек, мудрый и молчаливый. Никаких лишних жестов и слов.

Греки уехали.

Лешка оставил мне на память одну свою фотку, с гордым профилем, и ракушку, которая долгие годы была единственным напоминанием о Крыме для его семьи. Долгие годы ожидания. Долгая дорога домой.

Ослик, кажется, привык к новому дому и хозяевам.

Но однажды...

Однажды...

Солнце встало, значит, пора работать.

Он вышел из стойла и встал в старенькую колею. И уже жерновов нет, и молот не надо зерен, и никто не запрягает. А он встал и принялся ходить по кругу, так, как учила его София. Как привык за долгие годы службы и жизни в родном дому. Только не понять ему было, ослику (ослик он всегда просто ослик, все-таки он не мудрый грек), что дома уже нет и его любимая София уже давно далеко от него.

И он ходил по кругу, долго-долго, пока солнце не закатилось и не стало ясно, что теперь-то можно отдыхать.

И никто не посмел остановить его в этой работе. Потому что ослик все-таки немножко грек и, самое главное, настоящий верный друг, который грустит и не забывает своих родных и близких.

Королевы в изгнании

У моей бабушки была троюродная сестра – Мадина. Она была такая древняя старуха, наверное, старше самой Вечности.

Мадина казалась мне тощей, скучной и вредной. Она шпыняла меня день-деньской и вечно требовала что-то. И самое главное требование у нее было – будь татаркой! Папа ругался с ней: «Ну какая же она татарка, если в ней татарской крови кот заплакал?» А Мадина твердила свое. Быть татаркой, по ее мнению, значило – быть отличницей, самой красивой и элегантной, не давать спуску обидчикам, знать татарский язык, историю, литературу, учиться лучше всех, знать больше всех, быть смелее всех, трудолюбивее, никогда не опаздывать, не грызть ногти, не танцевать на дискотеках, не смотреть эти идиотские фильмы, не петь песни «Ласкового мая», не любить Цоя, не таскать домой бездомных кошек, не дружить с дурными детьми, не лазить на крышу, не жечь костры, не ни не ни не ни...

Если бы Мэри Поппинс не была англичанкой, она была бы татаркой.

Своих детей у Медины не было, но зато была я. И она меня мучила. Она била меня по губам, если я нарочно коверкала татарские слова, она стегала меня линейкой по спине, а я назло сутулилась. Я из вредности ела плов руками, как ка-

захи, а не ложечкой! Мечтая довести ее до инфаркта, я выучила и распевала «Красную плесень». И, как казахи, пила из пиалы, а не из кружечки.

Но Мадина была неумолима, жестока в воспитании меня.

Она каждый день рассказывала мне, как нас, татар, насильно выселили из Крыма, как навсегда пропал без вести ее сын, единственный и родной, как потом она годами его искала и узнала, что он погиб. И о своем муже, который был учителем в школе, о его белом попугае, о том, как они с мужем любили друг друга, он похоронен там, в Крыму, он умер во время войны.

Она твердила мне все это, и еще то, как прекрасен Крым, который украли у нас, у татар, и мы обязательно туда вернемся, и там снова будет звучать татарская речь на улицах.

Я пропускала слова мимо ушей, я старательно отвлекалась, но ее истории все равно увлекали меня... Особенно о том, каким был Крым до войны, белые дома, волшебное море, чудесные можжевельники, Меганом, Бахчисарай.

Она подробно описывала улицы, дома, нравы, людей, она показывала мне чудом сохранившиеся фотографические карточки с дореволюционным Крымом, шампанское и дамы в шляпках, тоненькие перчаточки, кружевные зонтики от солнца. Она знала все это от своих старших братьев, которые жили в те годы и рассказывали ей.

Она вспоминала про какого-то музыканта по фамилии Финкельсон, он так здорово играл на рояле, что купцы заез-

жие, ценившие музыку, вы купали Финкельсона и его рояль в шампанском. Финкельсон плакал, потому что он понимал, что этот изумительный инструмент испорчен.

Но больше всего меня увлекали ее рассказы о цыганах, которые кочевали по Крыму, об их шатрах и женщинах с потрясающими голосами, она пела мне их романсы. Мадина была все-таки упрямой женщиной, и Крым, ее Крым, вскоре стал и для меня мечтой. Море, которое помнит античность, как смелые греки покоряли его. Скалы, видевшие динозавров! И можжевельник. Он пахнет так, как пахнут цветы. Виноградники и сады. И самое лучшее в мире вино!

Шли 80-е, перестройка, дефицит, началась безработица. Но я ничего этого не замечала, ничего. Потому что у меня в голове был только Крым, где даже зима полна чудес.

У меня был рай на земле, и он назывался Крым. Это было то самое место, мое родное и просто мое, я чувствовала себя хозяйкой Крыма, его княгиней и властительницей, вот скоро я вернусь домой, в родной замок. Это здесь я никто, а там... Я считала себя королевой Крыма в изгнании. И старалась учиться лучше, просто на пределе своих возможностей. Ведь королева Крыма не может быть двоечницей!

Я взяла у Мадины пыльную кривую соломенную шляпку, она была кособокая, но меня это не смущало. Я стала ходить в ней в школу, у меня были тоненькие перчатки и вместо портфеля – саквояж, старинный и драный, а еще веер и

пенсне. Мадина очень гордилась тем, что я ношу все это. В школе меня дразнили, а я бросала сквозь пенсне презрительные взгляды на обидчиков, я научилась быть татаркой.

Мы с Мадinou умоляли папу, чтобы он позволил нам поехать в Крым, к нашему морю, к нашим чайкам. Мы смотрели в окна, на пустую степь вокруг и умоляли о Море. Папа говорил, что нет денег, что нет времени, что Мадина не выдержит поездки, у нее сердце, что это не наш дом, это не наша родина, пора забыть! Мы не живем там уже почти 40 лет. Даже больше. Это не наш рай.

Мадина, услышав последние фразы, о том, что это не наша родина и так далее, потеряла сознание, мы вызвали скорую.

У Мадины случился сердечный приступ, она долго-долго лежала потом в больнице. А когда выписалась, сказала отцу, что он предатель и что она ненавидит его и больше не намерена жить с нами. Лучше она умрет в доме престарелых, чем останется с такими родственниками.

Папа просил прощения, умолял не уходить от нас. Мама с ужасом шептала, что это позор, если она уйдет в такой дом. Тогда я стала кричать: «Я татарка! Я татарка! Только не уходи, не оставляй нас! Расскажи еще о Крыме!»

Мы все-таки любили эту вредную старуху!

Я, кажется, знаю, кем была бы Шапокляк, если бы она была татаркой! И Мадина улыбнулась, и осталась, и простила.

Той зимой мы стали копить на поездку в Крым, мы решили поехать туда. Мадина ожила, она расцвела, она как буд-

то стала моложе. Она стала подбирать гардероб и долго размышляла, в каком платье она пойдет на могилу мужа, ведь столько лет не виделись. Она все еще любила его, она всегда любила его и никого кроме.

Мадина не дожила до лета, возраст, сердце. Она умерла во сне, легко и спокойно. Она унесла с собой все, что не успела рассказать. Но главное она оставила, она оставила мне мой рай – Крым, никогда не виденный мной. Она оставила истории, никогда не слышанные никем больше, кроме меня.

Прошли годы, и я все-таки там оказалась. Крым долго не пускал меня в себя, я ходила босиком по его улицам и не верила, что это мое.

Королева в изгнании так и осталась в изгнании. А потом вдруг замочек щелкнул и дверца отворилась. Крым открылся мне и показал свою душу, он меня признал. Мадина была права, Крым на самом деле мой дом и моя обетованная земля. Рай, украденный у меня...

Недавно мне позвонила Рита, немка по национальности, внучка ссыльных поволжских немцев. Живет в Германии. Она скопила денег на поездку себе и своему сыну. Да, они были там, откуда выселили ее дедушек и бабушек. И ее рай тоже долго не открывался и не принимал, а потом все-таки раскрыл свои сокровища перед ней и ее сыном.

– Ты знаешь, мы никогда там не состаримся!

- Ты знаешь, мы никогда не проведем там свое детство!
- Ты знаешь, мы никогда не будем там похоронены!
- Ты знаешь, мы проживем жизнь в других краях!
- Ты знаешь, наши сердца останутся там, где рай на земле!
- Ты знаешь, мы, кажется, нашли свои дома и земли...
- Ты знаешь, мы навсегда останемся королевами в изгнании...
- Ты знаешь...

Берегите свой рай на земле!

Мальчик все-таки поймал огромную рыбу

Снился Ояр. Старик из моей детской жизни. Мне было лет шесть-семь. Мы жили в крохотном поселке в Казахстане. Туда не ездят поезда, и трасса проходит очень далеко от нас. Мы навсегда потеряны в степи, среди молчания и пыли. Ояр был родом из Прибалтики. Из тех репрессированных прибалтов, которых ссылали к нам после войны. Наверное, эстонец или литовец. Не знаю. Не важно.

Срок прошел, а он так и не почувствовал, что освобожден. Так и остался. Нет, не прижился, просто вахту не мог оставить. Следил за бараками, в которых был лагерь, за кладбищем. А там – никаких имен, только цифры и буквы какие-то. Ничего больше. Он прокладывал дорожки, сажал цветы. Молился на каком-то своем языке. Не пускал нас, малышей, играть среди могил.

Мы, дети, дразнили его. А моя бабушка первый и единственный раз в жизни пригрозила, что накажет, если я буду со всеми кричать «Больной Ояр! Чокнутый!».

Ояр часто бывал у нас дома. Бабушка лечила его травами, говорила, что у него легкие сгнили от горя.

Она застывала перед ним с ладонями, полными птичьих перьев, и шептала: а теперь дуй, дыши, а сейчас повтори за

мною шепотом. Давай попробуй, спой. Ояр пел непонятные нам песни, и перышки – совиные, фазаньи и другие – летали в воздухе.

Бабушка смотрела на него и молчала.

Нет, не любовь. Нет, не дружба. Нет.

Только нежная грусть в самом центре груди, тихая печаль, и вдруг такое притяжение, от которого так прохладно и горячо внутри. На краю жизни, на исходе ее.

Ояр показывал мне фотографию, я помню ее отчетливо – маленький мальчик с огромной рыбой, вокруг сосны. Меня еще удивило, как много деревьев... у нас такого и быть не может.

Я не знаю, наверное, это был его сын или брат, племянник? А может, он сам?

Мальчик поймал огромную рыбу, мальчик счастлив.
Сияет рыба на солнце.

А еще Ояр делал пуговицы из стекла и костей разных животных. Как-то из куриных косточек вырезал мне ожерелье. Тоненькое, белое. Пуговицы были невероятные, с узорами и орнаментами, с удивительными фигурками. У меня были такие на платье – крохотная лодочка, а внутри птица. Или еще – девочка со змеей в руках.

Ояр денег не брал, просто так дарил.

Он еще глаза делал. Для игрушек. Игрушки шил сам, со-

бирал тряпье по дворам и шил – зайцев, тигров, медведей. И рыб, какие только в его краях водятся. И глаза пришивал.

А однажды мы с ребятами стали водой заливать норки сусликов, а когда зверьки всплывали, повязывали им на шею веревку и водили потом как собачку на поводке. Просто я в журнале увидела болонку и очень захотела такую. Но у нас они не водились. Мальчишки решили меня порадовать. Ояр упрасивал нас не делать этого.

– А что мы получим взамен? – спросили мы.

И тут один из нас вспомнил, что у нас говорят, мол, если покойник тебе приснится, то нужно спросить у него, где клад. И умерший обязательно тебе расскажет, где и что.

Мы сторговались с Ояром. Обещал, что как помрет, так сразу начнет сниться, и чтобы каждому по кладу.

Тем временем к нам в поселок приехала одна студентка из города, к родственникам на лето. Ояр на нее дышать не мог, стоял как вкопанный. Косы до земли, черные-жгучие, глаза оленя, тонкие руки, крохотная, хрупкая девушка.

Она ему свидание назначила у колодца.

Он пришел – седой старик, впервые за долгие годы нарядный, причесанный, с начищенными ботинками. Он и сам себе изумлялся. Неужели я еще живой и в моей душе не погас свет? И я все еще до сих пор могу любить? И во мне еще не умер мужчина? Моя бабушка молча приготовила настой полыни. Отлично успокаивает. Ояру точно будет нужно.

Так и случилось.

Студентка долго не приходила. Весь поселок собрался поглядеть на Ояра. Бабы уже подшучивали над ним. Мол, не поздновато ты на свидания собрался? Тебе сколько лет? И все такое.

Мужики опускали глаза.

Мы, дети, тайком хихикали, боялись рассердить Ояра громким смехом. Ну, а вдруг передумает и не захочет при-
сниться.

Ояр молчал. Но Она все-таки пришла. Достала ведро воды из колодца и как ни в чем не бывало прошла мимо. Ояр затрясло.

И уже никто не сдерживал смеха.

И вдруг маленькая Гузяль (ей было пять лет) громко заплакала.

Ояр:

– Ты чего?

Гузяль:

– У моей рыбы глаза оторвались. Найти не могу.

Ояр сорвал со своего пиджака пуговицы с мясом и отдал девочке. И сам ушел. И пиджак бросил в пыль.

Через некоторое время в наш поселок пришли строители дорог и снесли бараки и кладбище. И на том месте проложили дорогу. Ояр всё это видел.

Он ходил в сельсовет, ругался. Но без толку.

Тяжко заболел Ояр. Тень от тени.

Бабушка снова стала его лечить. Но невозможно спасти того, кто не хочет спастись.

Он умер на ее руках.

Я не знаю, может, он и был ее последней любовью. Может быть.

У меня в тайнике там, в стареньком доме, долго-долго хранилась его фотокарточка – маленький мальчик поймал огромную рыбу. Она сияет на солнце. Он улыбается. Вокруг сосны.

Последние слова Ояра были: «Хочу чихнуть, да не получается». Смешно, да?

«Когда был в лагере, выжил только потому, что знаю множество смешных историй. Таких людей ценили. Не трогали».

Приснился недавно.

Смотрит на меня.

Я ему:

– Ояр, ты ли это?

Кивает.

Я ему:

– Ояр, ты где, в аду? В раю? Все это существует? Божий суд? И все такое?

Ояр:

– Да не про то спрашиваешь!

Смеется.

Я ему:

– Ояр! Ты своих нашел? Или ты опять один?

Молчит.

– Не про то спрашиваешь!

Я ему:

– Ояр, где клад?!

Смеется.

Тут моя грудная дочка Гулька толкнула меня в бок, попросила титьку.

– Мама, ти!

Я душила свой смех (чтобы не разбудить мелкую), вот он, мой клад, Ояр!

Мы не зря с тобой торговались!

А еще однажды мы с ребятами гуляли с Ояром в степи. Было лето, маки цвели. Ояр намазал себе нос медом и лег в траву.

И вдруг на его нос сели бабочки и стали есть, смешно шелвели своими тонкими лапками.

Несколько бабочек на его длинном носу.

Я никогда так не смеялась.

И мы все намазали носы и лежали в траве, боясь шелохнуться, чтобы не спугнуть бабочек.

А над нами сияло солнце.

Как в тот день, когда маленький мальчик поймал рыбу.

Про сварщика

Однажды моя мачеха в очередной раз вместо детского сада повела меня к себе на работу, в кинотеатр. Она была киномеханицей, а я целыми днями смотрела кино, там же ела и спала, в кинозале.

И вот очередное кино про шпионов вдохновило меня на игру в них. Дело было летом, большинство моих друзей оказались за городом, и мне пришлось играть одной. Выбрала себе объект наблюдения – молодого сварщика, который, красивый и очень аленделонистый, жил напротив, на втором этаже, у него была комната с балконом, он часто выходил, одетый по пояс, и выгуливал свою аленделонистость.

Девочки рассыпались погибающими букетами под его балконом, а сварщик убивал их своими жестокими равнодушными глазами.

Клянусь страшной клятвой мизинчика, я никогда больше не видела мужчины прекрасней. Никогда. Этот сварщик, похожий на древнего грека, смуглый брюнет с ярко-зелеными глазами... Ах!

Я следила за ним целыми днями, бродила за ним хвостом и рисовала в украденную у мачехи тетрадь, где и с кем гулял, карту его прогулок и прочее.

И однажды я увидела какую-то даму, ей было, как сейчас понимаю, лет, наверное, сорок, может, чуть меньше... А ему

двадцать — двадцать пять.

Она стояла под его окном, он вышел покурить на балкон, они увидели друг друга, оба не сказали ни слова. Они смотрели друг на друга не отрываясь, очень долго, так долго, что все притихли во дворе и стали ждать, что же произойдет.

Напряжение росло. Оно было таким сильным, что никто даже не стал шептаться, мол, кто эта женщина и зачем она здесь?

Она была очень красивой, и одета с иголочки, так, как на нашем Шанхае никто из женщин никогда не мог себе позволить. Очень дорогая, роскошная дама, эффектная как кинозвезда. Она молчала и ждала. Он не спустился к ней, он отвернулся и еще долго стоял так спиной ко всем, и к ней в первую очередь, и курил свои дешевенькие сигаретки.

Наконец она ушла. К сварщику бросились парни, девицы с расспросами, но он отказался с кем-либо говорить и ушел, хлопнув балконной дверью.

Она приходила еще несколько раз, и каждый раз по пятницам, он не спускался к ней. Она стояла даже под дождем однажды, вымокла вся, но его это не волновало. Она ни разу не плакала, только стояла и смотрела на него, молча, долго, так долго, как только можно.

У нас во дворе уже и асфальт, и трава в его трещинках возопили, ну кто же она? Кто она такая?!

Нет, не мать же! Впрочем, он ведь детдомовец, да? Ну конечно, я сама видела его документы в нашем ПТУ. Откуда

вдруг у него появится мать?

А может, она его невеста? Нет, не смешите меня! Бывшая любовница, каких у него были тысячи?! Может быть? Такая дорогая дама, да неужели? А вдруг она ему платила? Кто его знает?

Грязный смех и сплетни стали расползаться по нашему двору как змеи.

И вот наступила очередная пятница. И все уже собрались под балконом, ждали представления, все надеялись увидеть и осмеять. Но она не пришла. И он не вышел. Все было кончено. Их история так и осталась для меня тайной. Кто она и кем приходилась ему? И почему его глаза так горели, когда он смотрел на нее, и отчего он не вышел к ней ни разу?

И в ту пятницу, ту злую пятницу, я увидела, впервые в жизни, как плачет мужчина. Это плакал сварщик. Он сидел на чердаке, курил и плакал. И так горько и печально, что мое сердце заболело. Как говорит моя бабушка, если бы сердце нашло дырочку, оно бы выпрыгнуло.

Я подошла к сварщику и отдала свою тетрадку. Я обещала, что не скажу ничего, никому, что больше не буду так делать. А он все плакал и плакал. С тех пор я всегда чувствую себя виноватой, когда плачут мужчины.

А она больше никогда не возвращалась в наш двор. Вскоре тот парень купил мотоцикл и разбился на нем. А как звали его, я не помню.

Зернышки и якоря

Знаю, никто и никогда не найдет то крохотное зернышко беды, что просачивается в тебя вместе с дождем, во время которого ты оплакиваешь то, что только ты можешь оплакать, что-то из глубины. И вот тогда это зернышко поселяется в тебе, и пускает глубокие корни, и, может, когда-нибудь ты и сам поймешь, что эти корни и есть то, на чем ты держишься и живешь. Это как якорь для корабля.

Знаешь, это правда, а то куда бы нас унесло и где были бы мы сейчас без наших якорей.

Это было однажды, когда мои родители в очередной раз развелись, и я, испуганная старшеклассница, приехала к отцу поговорить про маму, а там другая женщина, не моя мама, и он выставил меня из квартиры, потому что я устроила истерику. И я убежала в дождь босиком, со слезами на глазах. Я металась по всему городу, отец звонил мне на пейджер, а я не отвечала на его сообщения.

Улицы – дома – окна с чужой жизнью, а потом я влетела в пивную Черного Солдата, того самого, про которого мои одноклассники говорили, что он один выжил из целого полка, там, в Афганистане. Впрочем, врал, конечно. Впрочем, это все были только слова из песни Виктора Цоя, конечно.

И там, в пивной, мужики даже расступились передо мной, в шоке. Такой безумный вид у меня был, глаза огромные,

утонувшие в слезах.

Я подошла и смело плюхнула на барную стойку свои промокшие деньги, с меня капала вода, можно было подумать, что я русалка, сбежавшая от жестокого Нептуна.

– Водки! – устало, еле слышно сказала я, стуча зубами от холода.

Мужчина с той стороны барной стойки, тот самый Черный Солдат, грустно вздохнул, посмотрел мне в глаза. Он сказал что-то вроде: «Не грусти, малыш, может, лучше поешь нормально? Чего случилось-то? В школе обидели? Нет? А кто? Никто? Ну никто так никто... Забудь – бывает – пройдет».

И в итоге водка заменилась пельменями с чаем.

Какой-то мужчина сел рядом, закурил, стал ко мне клепаться. А Черный Солдат ему строго, как отрезал: «Отстань, дай ребенок поест по-людски, что, не видишь, хреново человеку...»

А потом дождь закончился, вышло солнце, и слезы высохли, и что-то такое горячее поселилось в моей душе.

Я только потом поняла, что это зернышко моего горя. Теперь оно проросло, больно пустило корни сквозь меня, они ушли глубоко в землю, и вот я держусь ими на этой земле и не улетаю в космос как воздушный шар, наполненный гелием.

Хотя однажды... конечно, однажды... как мы все... Но это не страшно...

Через несколько дней я увидела по телевизору хронику

вывода советских войск из Афганистана и узнала его – того бармена, Черного Солдата, в толпе рядовых, только он был моложе и хромал не так сильно, как в тот день.

Конечно, мои одноклассники много про него наврали, но оказалось, что самое главное – правда, он действительно там был. ТАМ БЫЛ...

И я поняла, у него тоже есть зернышко, и якоря, они, правда, тяжелее моих.

Имена

Это случилось давно, в одно из самых жарких алма-атинских лет, когда воздух был настолько горячим, что казался густым, как гречишный мед. И я не просто дышала, я проглатывала его большими дольками, сияющими и ароматными, как дольки дыни.

Сок стекал по моим пальцам, сок летнего жаркого воздуха.

Мне было тогда лет пятнадцать, и тайны взрослого мира манили и притягивали. Космическая музыка слышалась во всем, что касалось взрослой жизни, далекой и параллельной.

Я очень любила заходить на почту и выискивать в мусорных ведрах порванные, выброшенные письма, телеграммы и прочее. Нет ничего интереснее, чем складывать обрывки и искать в них то, что скрывается от чужих, то есть от моих, глаз.

Письма о прощении, о любви, о печали, о разлуке, требования вернуться, отдать долг, забыть, вспомнить, прийти на помощь, исчезнуть навсегда.

Строчки, строчки, строчки.

Выброшенные фотографии неизвестных мне людей.

Обещания и проклятия.

Благословения и обман.

Тонкие нити чужих жизней.

Я все это собирала в красную коробку и приклеивала клеем канцелярским пахучим «Школьным».

И перечитывала, снова и снова...

В те дни судьба подкинула мне новую игрушку. Там, на почте, появилась немолодая и уставшая от жизни печальная женщина, в стареньком, изношенном платье, с соломенной шляпкой. Она прошла к ящикам, где хранились письма до востребования, открыла один из них, достала письмо, распечатала конверт, заглянула внутрь и выбросила, и выскользнула, неуловимая, за дверь. В глазах – слезы.

Я тут же бросилась к урне. Схватила конверт. Там была только одна строчка, а на ней имя – Саша.

И все.

Только имя. И не ясно, мужское или женское. Саша – это кто угодно, верно?

И что это за письмо такое, без обратного адреса? И почему она так отреагировала на него?

День за днем я сторожила ее у почты, следила за нею. Она появлялась ровно в двенадцать часов дня, по пятницам, открывала свой ящик, и (это уже стало ритуалом) находила письмо и выбрасывала его.

У меня уже скопилась пачка конвертов. «Саша» в каждом из них.

Что за таинственная история пряталась в этом имени? Может, это история любви, несчастной и горестной, или история предательства, нераскрытого преступления, взаимной

ненависти, гибели друга, напоминание как месть... Какая-то тайна из ее прошлой жизни.

Не знаю до сих пор.

Только пожелтевшие конверты и имя.

И слезы – в глазах. Её слезы.

Я продолжала слежку. Игрушка полюбила настолько, что я забыла на время своих друзей и приятелей. Они обижались на меня, сердились, ревновали, но все это нисколько не трогало меня. Целыми днями ходила за новым развлечением, шаг за шагом, как тень.

Скоро я узнала, что та измученная женщина работает в библиотеке, я немедленно записалась туда. Стала ходить, торчала там круглыми сутками, делала вид, что очень люблю читать все эти занудные старые журналы.

Оказалось, что у этой женщины есть мужчина, он чуть младше нее.

Он жил в доме напротив библиотеки. Он встречал ее каждый вечер на перекрестке, и они уходили вместе к нему домой. Но его точно звали не Саша. Его звали Никита. Девочки из его двора сказали.

Однажды вечером я опять шла за ними, и вот уже у дверей его подъезда, глядя, как они обнимаются, я крикнула: «Саша! Ты помнишь Сашу?»

Мне было любопытно, что она сделает, как она отреагирует на мой крик... Она оттолкнула Никиту и подошла ко мне.
– Это ты кричала?

– Да.

– Откуда ты знаешь про Сашу?

– Знаю, и все. Откуда – не скажу.

– Зачем ты так?

– Захотелось. Мне скучно.

Она больше ничего не спросила. Она молчала, она вдруг обняла меня и заревела в голос, она плакала в мое плечо, я хотела вырваться – не смогла, я вдруг застыла в ужасе от того, что впервые столкнулась с горем такой силы. У меня рубашка была мокрая от ее слез.

Никита подошел к ней, обнял ее за плечо и буквально оттащил от меня.

Тайна так и осталась нераскрытой.

Господи, как было жарко в тот вечер. Казалось, что дома вот-вот треснут как спелые арбузы, от духоты этой и чего-то еще...

Годы спустя я понимаю, что имена из прошлого порой и есть то самое, что делает меня – мной, они составляют мою жизнь, они будут рядом со мной, когда я умру, они не исчезнут, пока я существую, и после моей смерти останутся.

Пачка пожелтевших конвертов.

И имена, от которых – больно, жарко, радостно и печально, от них хочется скрыться, их – хочется найти.

Имена, услышанные в толпе, по радио, прочитанные в книге, в Интернете, в газетной публикации. Люди, которых больше не придется называть по имени.

Мое имя тоже в этом ряду, для кого-то... Может, кто-то, кого я и не помню толком, повторяет мое имя, в надежде вспомнить и сохранить что-то ценное и важное.

Без обратного адреса.

Бывшие и прошлые, те, кого больше нет, те, кто больше не нужен, те, о ком помню каждую секунду, те, кого не хочу помнить. Те, кто как игла в моем сердце.

Имена друзей, врагов, родных, чужих, соседей, любимых, ненавистных, в одну строчку – все.

Иероглифы только мне понятного языка.

Никто не прочтет. А даже если и да, то...

У меня тоже есть имена, из-за которых я тоскую и часто-часто курю.

А у кого их нет? Таких имен? У вас нет? Наверняка ведь...

Саша – это мужское или женское? Это ведь кто угодно...

Кто угодно.

Имя, которое повторяешь как мантру, как молитву, ежесекундно, про себя, чтобы никто, кроме ангелов и Самого...

Выброшу все конверты.

Потому что письма из прошлого, они всегда без обратного адреса, невозможно ответить. И ни к чему хранить.

Это как звонить из 2009 года в 1943-й, набирая номер с буквами. На каком современном телефоне вы видели буквы? Разве что на мобильном...

Звонить с мобильного в прошлый век...

Письма

Когда-то я жила в одном маленьком поселке, в Казахстане. Напротив нашего дома стояла тюрьма. Там сидели мужчины. Они писали малявы, короткие записки на клочках, и бросали их за решетки. Малявы валялись по всей земле. А затем приходили женщины – дочери, жены, сестры, матери, любовницы. И подбирали их, грязные и изодранные, с растекшимися чернилами, искали любимый, родной почерк.

Зимой они выгребали записки замерзшими пальцами из-под снега. В дождливую погоду старались как можно скорее прочесть строчки, растекающиеся под дождем. Пока струйки воды не смыли все. Пока дождь не отнял самое дорогое...

В жару буквы выцветали. И вместо текста – оставалась только паутинка, не разобрать, что там.

Короткие строчки, ради которых пройдено столько – ради них – на коленях ползком по снегу. Пальцы синие от холода. Поймать в ветре крохотную бумажку.

Написать самое главное, потому что лишнее не поместится на этом обрывке. Только самое главное. А что оно, самое главное? Что?

Письма и имена.

На этом замолкаю. Больше мне нечего сказать. И хорошо, что у нас есть имена. Только не надо их громко. Лучше шепотом, в тишине.

Вражеские голоса

Эта история произошла, когда мы еще учились в школе. Обычный школьный день начался с общей линейки, после нее все разошлись по классам. Мы заняли свои места, обменивались шуточками и записками. Мы – это ученики младших классов, двоечники и прогульщики.

– Вы, конечно, знаете, что случилось на Украине? – спросила нас пожилая учительница. По слухам, она еще помнит Великую Отечественную, похороны Сталина и вообще ровесница мира, а может, и старше его.

– Нет, – никто из нас ничего не знал.

– А я вам скажу! Чистую правду! А то наводят вражеские органы печати и радио-телевещания на нашу Советскую Родину грязную клевету, а я вам отвечу, это все пропаганда! А кто будет слушать вот это все, тот никогда не станет пионером! – она негодовала.

А мы играли в морской бой и крестики-нолики. Нам было всего-то ничего годков, мы никогда и не слышали про эту самую Украину, откуда нам. И какая может быть, к черту, Украина со всеми ее трагедиями, когда вот у Дины собака родила щенков (Дина, вы только прикиньте, пацаны, видела роды щенков сама, Расскажи, Дина!), а у Дамира мама привезла вот какие прикольные игрушки и книжки.

– Так вот! Там произошла авария на Чернобыльской атом-

ной электростанции!

Мы оживились. Авария – что может быть круче! Интересно, а сильно жажнуло и что-нибудь сгорело? Вот здорово, если бы сгорело хоть что-нибудь, как в фильме про пожарных.

– Вражеские голоса утверждают, что последствия катастрофические. Что в республиках Украина и Белоруссия жуткие последствия, гибнут люди, земли отравлены радиацией. Так вот, все это неправда, все это пропаганда. На самом деле жертв нет, а жителей вывозят планово. И земли вообще не отравлены. Советские власти принимают решения по этим вопросам. Все последствия аварии будут устранены. А что касается Белоруссии, это даже смешно, – наша старенькая педагогиня говорила дрожащим голосом. Она от волнения то и дело замолкала, искала слова, пила воду из графина и показывала указкой на карту, вот где находится эта самая Белоруссия и вот она, Украина.

– Два зеленых пятна. А все равно Казахстан больше, подумаешь, какие-то пятна! – сказала я, и мы с моим другом Дамиром продолжили обмениваться записками.

Учительница пыталась утихомирить класс, но куда там, мы не слушали ее, мы были заняты. Детство, жаркий день, солнце.

И только моя подруга Мадина молчала. Она была родом из Семипалатинской области, из той самой, где был ядерный полигон. Она с малых лет слышала это слово в разговорах взрослых – радиация... Она знала то, чего не знали мы... А

еще она знала, что властям верить нельзя, новостям верить нельзя, газетам верить нельзя, врачам верить нельзя, учителям верить нельзя, военным верить нельзя, ученым верить нельзя... И что в нашей стране все временное становится постоянным, а все, о чем ты думаешь, что это постоянное, – временно.

А потом в школьном дворе учителя, молодые и начинающие, спрашивали у нашей классной, а зачем вы среди таких малышей проводите агитацию? Они же совсем крохи, им не понять даже. Нам гораздо труднее, мы со старшеклассниками работаем. Они такие вопросы задают...

Наша классная немедленно потребовала, чтобы они, молодые, выдали ей списки с именами и вопросами, мол, кто чего спрашивал. Обещала проработать ЭТИХ. Чтобы они больше не смели, никогда. Ни за что...

– Вот видите, агитацию надо проводить с самых ранних лет. Если не мы займемся нашими детьми, ими займутся наши враги.

Затем у ее кабинета стояли они – те, кто из черного списка, дети из разных классов. В очереди. Она прорабатывала их по одному. Из класса то и дело вылетали ребята и девочки со слезами и гневом.

– Но ведь я только спросил! Я ведь только хотел узнать... Что, не имею права?

– Не имеешь! Тебе доверили старшие товарищи важную информацию, а ты! Да за такие дела галстук пионерский

снять можно...

Я потрогала свой октябратский значок и честно дала себе слово никогда и никого ни о чем не спрашивать. А то ведь снимут. При всех возьмут и снимут значок. Стыд какой! Ужас! У всех будет значок, а у меня нет. У меня – нет! Кошмар!

А еще у нас был скандал. Старший брат Мдины Кайрат взял и самовольно снял свой галстук. Он что-то такое сказал педагогине, ровеснице динозавров, что пришлось вызывать скорую для нашей мадам. Сердце.

Его не пускали в школу без галстука, требовали, чтобы он надел. Вызывали его маму. Мадине учителя грозили, что если ее брат не сойдет с гнилой дорожки – его выгонят из школы. И ничем хорошим это не кончится, это же надо... распустились совсем.

Учителка написала на него бумагу куда следует, и мальчиком занялись...

К тому времени советские власти уже признались, и что жертвы были, и что последствия гораздо более серьезные, чем утверждалось ранее, но нас в нашем крохотном поселке это не касалось, у нас была своя страна, свои порядки.

Кайрата терзал местный участковый. Ругал его, угрожал, советовал не лезть к старушке, надеть галстук и забыть обо всем. Обещал помочь, на учет не ставить и все такое. А парнишка стоял на своем. Он видел, он слышал, он знал. Он рассказывал участковому про полигон, про то, как дети бо-

леют в его родных краях, про то, что слышал от взрослых и видел сам, про то, как похоронил отца, как отец умирал от рака. Кайрат говорил и задавал вопросы. А почему и зачем, за что и для чего...

Участковый молчал. Курил. А потом не выдержал: «Да, тяжело тебе будет с таким характером, пацан. Ну что ж...»

Старушка, которая до этого все время болела, вдруг ожила. Скандал будто излечил ее, дал ей силы. Она стала писать письма в районо, в газеты, в журналы, депутатам, в ЦК и так далее.

А потом к нам в поселок приехала девочка. Говорили про нее, что ОТТУДА. С Украины, ее привезли какие-то родственники, здоровье укрепить... Мама тайком шептали своим детям, чтобы на всякий случай не подходили, не трогали. Потому что непонятно и неизвестно. Толком-то про это ничего не пишут и не говорят, ни по радио, ни по телику. А кто знает, А ВДРУГ... МАЛО ЛИ ЧТО...

Она приехала к родственникам. А ей было, наверное, лет пять-шесть. Она говорила на каком-то непонятном языке. И слов, которые говорили наши мамы по-казахски, она не понимала, но что-то такое чувствовала... Она не подходила к нам, видела что-то в наших глазах... Мама следили за нами из окон. Она играла сама по себе, одна...

И только Мадина рисовала классики и прыгала вместе с ЭТОЙ девочкой. Классики – та самая игра, для которой не нужно перевода слов. Есть только прыжки и веселье.

Мадина сказала:

– Однажды я увидела ее, она молча рисовала что-то на земле. Ее бабушка стирала белье в тазу, изредка поглядывая на девочку. Я взяла камень и подошла к малышке. Она испугалась. Не сводила глаз с моего камня, наверное, думала, что брошу в нее. А я стала рисовать камнем на земле классики и дала ей его. Она смеялась. Бабушка смотрела на нас и вытирала о фартук мыльные руки...

Мы с ребятами хотели к ним, но наши мамы... в глазах строгость и страх. Они слишком хорошо знали, что такое в нашей стране это А ВДРУГ...

Они помнили времена и рассказы о них, когда друг становился врагом, когда выгоднее было скрыть свое мнение, происхождение, взгляды и отношения с кем-то. Когда друзья переходили при встрече на другую сторону, не здоровались.

Родство с кем-то было грузом и опасностью. Даже твоя национальность могла оказаться тяжелым камнем на шее. Они помнили и знали... это где-то в подкорке, в подсознании, не убиваемое, даже если нас всех загнать в пустыню на сорок лет и дожидаться, когда уйдут поколения тех, кто помнит рабство и в душе раб...

Мне кажется, что в страхе всегда есть рабское, и тот, кто не боится, того не сделать рабом... НИКОГДА.

Старушка добила все-таки своего. Кайрата выгнали из школы. И он, и его сестра вместе с мамой были вынуждены уехать из нашего села, чтобы их единственный брат и сын

смог закончить школу.

Мы с Мاديной долго не виделись, а теперь вдруг нашлись в Интернете. Созвонились. Она живет в Караганде, вышла замуж, преподает в музыкальной школе. Кайрат теперь работает врачом, он онколог.

А вот мама их умерла, давно... рак...

Помню, когда Мадина уезжала, вместе с братом и мамой, она шла со своим маленьким чемоданом по нашей пыльной старой дороге, а за нею бежали мы – ребяташки. И все глядели на Кайрата, им гордились, его любили, его ненавидели, его презирали, им восхищались, в него были влюблены, его ждали, его прогоняли, его отъезд был облегчением и тяжестью...

Во двор выскочили ребята из его класса и крикнули ему вслед: «Удачи! Встретимся на перекрестках!»

Он обернулся и махнул им рукой...

И ребята не выдержали и подбежали к нему и обняли его на прощание. Учителя кричали им, что накажут за сорванный урок. А ребятам было по фигу... Они виделись в последний раз.

А ТА девочка вскоре уехала из нашего поселка и наверняка уже забыла про нас, ее обижавших, про наших мам, про Мадину и нашу горькую пыльную землю... Где теперь ТА девочка?

Нити рвутся, ломаются ветви. Облака сменяются тучами. И самое важное – страх уходит... по капле...

Как вылечиться с помощью словаря

Я как-то уже писала про то, что моя бабушка лечила людей травами и заклинаниями, она знала их море, на самых разных языках, от казахского до украинского. Так и делала: заговаривала человеку болезнь, сначала на одном языке, потом на другом, искала до тех пор, пока с болезнью договориться не получалось.

Сначала по-казахски (все-таки в Казахстане живем), потом по-русски (а кто у нас соседи?), по-украински, по-уйгурски, по-дунгански, даже по-китайски знала (а кто его поймет, откуда болячка прилетела, с какого края).

Говорила, говорила, говорила.

И знаете, да, помогало почему-то.

А однажды привели к ней мальчика, у него такое случилось: какая-то большая собака напугала, он вдруг перестал говорить, от ужаса. Бабушка с его болезнью, с ним, давай круги наматывать, неделю говорила, с перерывами, приводили к ней, уводили.

Смешно сказать, этот мальчик теперь переводчик с арабского, персидского и урду, мой друг. Наслушался звучания разных языков, в голове осталось, стал развивать.

У моего дяди – циркового артиста, джигита, мастера трю-

ков на лошадях – было море словарей, бабушкой даренных. Все на случай, а вдруг – болячка, а он на гастролях. И немецкие, и английские, и монгольские, и все 15 словарей по 15 республикам СССР.

У меня тоже дома такие валяются. Иной раз, когда что-то заболит, достаю из-под кровати и давай шпрехать: «Гутен морген, вас ист дас?»

И ничего, отпускает. Всегда можно договориться... Главное – очень захотеть.

Утешитель диких животных

Когда я была маленькой, то на вопрос: «Кем ты станешь, когда вырастешь?» – отвечала: «Утешителем диких животных».

– Это как же? – спрашивали меня.

– Очень просто, привозят диких животных в зоопарк, они там тоскуют по своим норам, саваннам и джунглям. Тоскует жираф, печалится страус. А я возьму стремянку и буду гладить жирафа и страуса по головам, чтобы не грустили.

– Ну, вот ты выросла, и кем ты стала?

– Я переводчица. В основном перевожу инструкции к применению – холодильник, утюг, чайник и прочее. Скучно, конечно. А где-то плачут не утешенные мной животные.

Почувствуй себя любимой женщиной

На нашей улице была мясная лавка Левана и брата его Ираклия. Леван – такой бородатый мужчина с усами, серебряные кудри. Он мясник. Стоит, курит, руки в крови, фартук в крови, в глазах – грусть.

К нему в лавку входит какая-то измученная женщина, в руках сумки, на спине рюкзак, вся загруженная, вся авоськами увешанная.

Леван:

– Девочка, красавица, купи мяса.

Женщина:

– Ой! Дорого!

Леван:

– Девочка, хорошая, уступлю... Даром отдам почти.

Женщина с ужасом:

– Ой, а оно, наверное, несвежее...

Леван (ласково):

– Возьми мяса, родная моя, придешь домой, вот эти вот мешки забудешь, наденешь красивое платье, губы накрасишь, духи-шмухи набрызгаешь, пожаришь себе с луком эту волшебную свинину, вина нальешь, фрукты поставишь, музыку включишь... И сиди, кушай, ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНОЙ!

Женщина прослезилась:

– У меня не хватит...

Леван молча заворачивает самый лучший кусок мяса в кулек и отдает ей:

– Давай сколько есть. Тебе скидка. И еще: мяса пожаришь, позови к себе в гости кого-то. Просто так.

У Левана всегда в лавке было полно женщин. Уходили счастливые.

Жалко, теперь той лавки нет.

Как хорошо, что вы меня не понимаете

Однажды к нам в школу привели пожилого человека, ветерана войны. Он долго рассказывал нам о войне, об истребителях, о взрывах, о минах и прочее.

Мы, первоклашки, слушали его и не понимали: «О чем ты, старик?»

Никогда такого не видели, никогда о таком и не слышали. В кино только. Ну откуда нам понимать, чем обычный самолет отличается от истребителя. И противотанковые мины от противопехотных.

Старик говорил-говорил, мы его перестали слушать, баловались, кидали друг другу шпаргалки, играли в морской бой. И не верили, что когда-то и он был молодым, и ребенком он был.

В детстве никогда в такое не верится.

А он после улыбнулся и сказал, счастливый:

– Дети, какая радость, что вы меня не понимаете, не слушаете и не знаете того, о чем я говорю. Вы не знаете, что такое смерть и вражда. Войны не знаете. Значит, не зря воевал, не зря вас защищал.

И по всем каналам «Лебединое озеро»

Дело было в Туркмении, папина экспедиция (а он всю жизнь строил дороги) заканчивала свою работу. Требовалось собрать аппаратуру, палатки, отметить будущие трассы на картах, сдать их.

И вот, когда весь лагерь в суете и суматохе собирается, а все это происходит в пустыне, в Каракумах, кто видел «Киндза-дзу», тот знает, про что я... Так вот, в самый последний момент откуда-то приезжает автобус с хором, то ли грузинским, то ли армянским или осетинским, не помню, в общем, они в бурках и папахах выходят из автобуса и поют.

А наши не слушают толком, времени нет, собирают манатки. Палатки складывают. Дирижер обиделся. Папа сказал: «Не обижайся, давай лучше выпьем».

И выпили, дело к вечеру, костер завели и еще выпили и стали петь. Хором у костра.

Утром все разъехались. А когда вернулись в Ашхабад, то уже всё, конец, по всем каналам «Лебединое озеро»...

Огрызок великой династии

Это случилось очень давно. В Алма-Ате. Те, кто когда-нибудь там жил, знают: высоко в горах спряталась наша Космостанция, обсерватория, похожая на инопланетное гнездо. И поселок вокруг. Маленький, крохотный.

Жил там один старичок. Астроном. Ветеран астрономии в Казахстане. Стоял у истоков. И все такое. Куча регалий, званий и прочее. Почтенный дедушка, аксакал.

Моя тетка работала там же, в обсерватории, мыла полы, и потому я имела право торчать в этом заведении сколько угодно. Хоть целые дни и ночи напролет. Смотрела в телескопы, на вычисления, таблицы, слушала какие-то научные речи. И ничего не понимала. Только одно знала: очень трудно жить, если не видишь звезд так близко, так рядом.

Нужно всегда, чтобы они были с тобой, эти непонятные звезды, эти странные звезды. Нужно чувствовать, хотя бы секунду за свои долгие годы и десятилетия, этот морозный холодок, что проходит по спине при мысли о звездах, о том, что они такие летучие и неумираемые. Вот ты умираемый, легко и просто умираемый, а они нет. Никогда не умираемые. Ты кончишься, а они нет!

Понимаешь, НЕТ!

И как же это?

Старик – звездный аксакал – такой древний, что, кажется,

он сам помнит рождение космоса. Лично принимал роды у Вселенной. Знаком с каждой пылинкой в бесконечном пространстве. Младший брат Бога.

Он приходил, и все затихали. Он садился за свой любимый телескоп и долго смотрел в него. Уже на пенсии, давно не при делах. Но все равно приходил. И все затихали в почтении.

Там, в обсерватории, работала его внучка. Она была старше моей тетки, седина на висках, горб на спине. И огромные СИНИЕ глаза. Помню до сих пор. В них хотелось смотреть долго-долго, держать ее за ее маленькую горячую руку и никуда не уходить.

И слушать ее рассказы о космосе. Она говорила о нем так, будто космос ее дом. Нечто настолько же родное и уютное, как кухня в квартире, пропахшая кофе и чаем, сигаретками и вином. Любимая кухня, в ней вырос, в неё возвращаешься каждый день, в ней пережито столько, что и не сказать, в ней живешь, в ней и помрешь однажды, бесконечной бессонной ночью, когда воспоминания тревожат и терзают, и щеки горят от всей этой горечи, и не спрятаться и не скрыться. И от водки не пьянеешь. И повторяешь как мантру, как молитву только тебе и ушедшим известные истины. Фразы, ясные только тебе и им. Вина, которую не разделить и не избыть, и остается только унести ее с собой в могилу.

Она не боялась вечности и бесконечности. Она говорила о них так просто и ясно, как домохозяйки говорят о борще

и белье.

Детей у нее не было, мужа и домашнего уюта. У неё был дедушка и разговоры на двоих, о родном, о том Великом, чему посвящены жизни нескольких поколений их семьи.

Она называла себя: «Я огрызок великой династии. Деды и прадеды – все знаменитые ученые. А я... так, в телескоп гляжу. Астроном средней паршивости, малой вшивости».

После, через годы, я узнаю, что Тулуз-Лотрек тоже называл себя огрызком. Горькая цитата.

И всё, что осталось от родных, – золоченые корешки на толстых книгах. Имена и регалии – ничего больше, только пожелтевшие страницы, карты, атласы, понятные только узкому кругу посвященных.

Мне казалось, что это какая-то секта. Все эти астрономы. Секта, не иначе. Орден монашествующих.

Ее дедушка приходил в обсерваторию, садился в любимое кресло. И вглядывался в космическую темноту. Он здоровался как со старыми знакомыми с Луной и созвездиями, планетами и туманностями. Никто кроме него не смел прикасаться к этому телескопу.

Однажды я все-таки рискнула, пока никого не было рядом, влезла в кресло и присмотрелась в драгоценное стекло. И что же я увидела?

На стекле были НАРИСОВАНЫ все эти планеты и космические сокровища.

За спиной послышались шаги, я не успела выскочить из

кресла, как тонкие, знакомые, горячие пальцы той самой внучки схватили меня за плечи.

– Никому не говори! Если посмеешь, я... – тихо сказала она, оборвав фразу от бессилия.

Я кивнула в ужасе, ее синие глаза наполнились слезами.

– Зачем же вы испортили телескоп? Зачем вы так?

– Он уже совсем старенький, и глаза у него слабенькие. Сам он уже ничего не увидит. А если так, то, конечно же, ему будет виднее. Ему нужно видеть звезды, иначе не сможет жить. Понимаешь, ему это как дыхание для жизни.

Огрызок великой династии. Стершееся имя среди золотых корешков. Молчание в пустой кухне, даже кота у нее нет, не может завести, аллергия. Смешно, да?

Из родных в живых только дедушка. Но сколько ему осталось? Он уже и ходит-то с трудом.

И тонкими, аккуратными стежками она рисует этот космос. Чтобы он видел. И он не догадывается. И не догадается.

И все затихают при его появлении. Слушают, не дыша, его фразы.

А он говорит и боится, что однажды они – молодые волки – скажут один другому: «А старик-то сегодня совсем плох, уже маразм».

Он боялся, что их молчание и учтивость – это просто вежливость и согласие, так люди обращаются с психически больными, выжившими из ума стариками вроде него.

А она всё рисует для него. Ей легко, она ведь знает этот

космос с детства. С колыбели. Еще не прикоснувшись губами к материнской груди, она уже знала. На генетическом уровне, подкорка уже заполнена. Ведь не напрасно несколько поколений ее семьи потратили себя в служении Бесконечному.

Нелюбимая женщина любимого человека.

Даже поцелуя в ее жизни не было, только долгие взгляды, туда, куда вход ей запрещен. Он женат, он чувствует к ней только уважение и симпатию. Она ему интересна, как бывает интересна книга, точнее справочник, энциклопедия.

Он задавал ей вопросы, слушал ее рассуждения, приглашал к себе в гости, на семейный ужин, где жена-красавица, горячо любимая, и дети – крепкие здоровяки, румяные как булочки.

Он называл это дружбой. А она задыхалась и вешалась от этой дружбы. И глаза прятала, отводила в сторону. Он гордился этим знакомством и приближенностью к знаменитой семье. Пользовался этим, делал научную карьеру, имя себе.

Прожить жизнь и даже не поцеловаться ни разу. И прикасаться к любимому только в рукопожатиях, коротких, сухих. В них только пустое, ничего кроме вежливости. Тонкими горячими пальцами на секунду ухватить крепкую мужскую руку и тайком вдохнуть ее запах.

Милая девочка, рисуй, рисуй.

Старенький астроном, молчи и смотри.

Прошло много лет, я и не знаю, где эти люди и что с ними

стало. Старик, вероятно, уже помер. Тот мужчина с семьей, говорят, уехал в Канаду или в Италию. Он смотрит на другие звезды и другие созвездия. Но это не важно, в какой он стране, потому что Бесконечное не имеет границ и не знает различий в языках.

А она? Огрызок великой династии. Живая цитата Тулуз-Лотрека. Слышала о ней разное. Одни говорили, что спилась. Другие – сошла с ума. Третьи – сменила профессию, теперь она проводница, все время в пути. Четвертые – она в богадельне, для инвалидов. Пятые – она уехала. На историческую родину. Не знаю куда. Она, кажется, гречанка или еврейка. Видели, какой у нее гордый профиль, Ахматовой и не снилось! Шестые утверждали, что она умерла.

Я спрашивала о ней другую мою знакомую, Марусю.

Маруся сначала долго молчала, а потом ответила: «Ты знаешь, случилась очень странная история. Та, о ком ты спрашиваешь, на самом деле исчезла. Ее искали повсюду. И даже в реке, думали, вдруг утопилась. А она просто исчезла. Сразу после дедушкиных похорон.

Соседи не видели. Коллеги по работе не знают. И следов не осталось. И думай что хочешь».

Мы все ее ищем, мы все ее ждем. И уже кажется, что напрасно.

Вспомнилось, она говорила о космосе, как о кухне в родном доме, теплой и светлой. Там пахнет кофе и сигаретками. О космосе, просто и ясно, как домохозяйки о борще и бе-

лье.

О космосе, как о родном доме, в котором все близко и приятно. И все твое. И эта шляпа на вешалке.

Может быть, она однажды посмотрела в небо и растворилась в нем. В Бесконечном. Оно ведь ближе и роднее, чем та жизнь, в которой она жила. Бесконечное не сует «дружбу» вместо любви. И не гордится, не шепчется, оно не знает всей этой суеты. Оно родное!

И, конечно же, Бесконечное ее приняло в себя. Не зря же столько поколений этой доблестной и великой семьи потратили себя в служении ЕМУ! Космосу!

И часто-часто, особенно когда в Питере тяжелые зимние ночи, мне помнится она, внучка. И ее большие синие глаза, в которые хочется долго-долго смотреть и никуда не уходить.

И держать ее за руку.

Горбатая девочка, рисуй, рисуй!

Ты знаешь больше, чем мы.

Ты не чувствуешь холодка по спине при мысли, что ты умираемая, а звезды нет!

Я всегда буду помнить тебя. Хорошо, что мы встретились на перекрестках, прикоснулись друг к другу и дальше отправились жить.

И будет новая жизнь

Однажды, когда я еще в младших классах училась, прихожу в школу, а там все наши из села, стоят какие-то мешки, старики и старушки, наши аксакалы и женщины и мужики... Собирают вещи.

Куда? Зачем? Почему?

И отчего женщины украдкой утирают слезы?..

– Армения, да, погибло очень много, дети маленькие тоже, а это вещи для выживших. Там случилось землетрясение.

Вижу, моя бабушка тоже среди людей, в мешки вещи складывает.

Соседка принесла какие-то старенькие сандалики.

– Внучка выросла, хочу отдать.

А бабушка сказала:

– Не надо старое, что ты, это же плохая примета. Старые горести к армянам вернутся. Надо новое, чтобы жизнь была новая. Прежней уже не будет, это ясно, такое горе, да. Но пусть будет у них другая, новая жизнь. Новые дети родятся, новые семьи появятся. Давайте лучше новое дарить.

И соседка согласилась.

Часы любили Давида

У нас в поселке жил Давид, пожилой армянин.

Он часы чинил и разное. В кабинете его часы звенели в такт, что вы, это была часовая симфония, они были как живые, это были такие часовые волны – тик-так, тик-так. И кушки были, да.

Эта была вся его жизнь, он мог целыми днями сидеть, согнувшись над ними, и ни о чем другом и не думал.

И говорить не мог ни о чем.

Только о них, о часах.

Знал всё.

Мельчайшие детали.

Мог воскресить любые.

Даже те, по которым проскакали лошади.

Это наш председатель колхоза уронил часы на скачках, и лошади, да, безжалостно истоптали.

Да, было однажды! Честное слово, сама свидетель. Он повозился с ними пару вечеров...

А все спорили, сможет починить или нет...

Председатель обещал, что если Давид справится, то он встанет на руки и пройдет на них по всему селу.

Мы ждали.

И да...

Через пару дней и ночей, уставший, как женщина после

родов, Давид вышел на улицу из своего кабинета и наконец протянул жаждущей толпе шелковый платок, в который было завернуто нечто.

Платок развернули...

И председатель еще долго пыхтел, ходил на руках.

Часы любили Давида.

Давид любил часы.

И они не могли подвести друг друга.

А еще как-то Давида пригласили в один дом, где жила незрячая от рождения пожилая дама, у нее сломались ходики.

Дама сказала: «Да, я не вижу, и, если честно, мне даже все равно, день или ночь, я давно на пенсии и уже сто лет никуда не тороплюсь. И, если честно, мне просто нужно, чтобы часы тикали, чтобы они просто тикали, даже так, без надобности».

Давид понял, как ей одиноко, и нарочно растягивал время починки и приходил к даме как можно чаще. Дама была довольна и дарила Давиду яблоки.

И вот однажды Давид помер.

И все часы остановились, все как один. Когда хоронили, то вместо цветов положили в гроб часы. Так и лежал Давид среди них, любимых.

Остановились вместе с ним.

Часы любили Давида. Давид любил часы...

Про Кайрата и его бабушку

Один мой приятель по имени Кайрат работал на телевидении. Был у него широкий доступ к разного рода видео – фильмы, там, мультики, передачи, сериалы. И я, разумеется, этим пользовалась.

Однажды мы с Кайратом поехали погостить к его бабушке.

Кайрат взял с собой видеомэгнитофон и телевизор, хотел бабулю порадовать, показать ей мультики.

Привез. «Том и Джерри», «Ну, погоди!» и какой-то турецкий мультик.

Показывает.

Турецкий мультик. Для самых мелких. Там какой-то лис гоняется за птенчиком, и лису вечно достается: то на него кирпич упадет, то он на гвоздь наступит. А птенчик – живет всех живых.

Бабуля:

– Нет, мне это не нравится. Я не люблю, когда кому-то больно. Выключи это.

Кайрат выключил.

Бабуля:

– Это откуда такое?

Кайрат:

– Это, бабуля, из Турции.

Бабуля:

– Когда у нас в Казахстане голод был и люди умирали, моя семья разделилась. Одни здесь остались, другие в Турцию уехали, чтобы с голода не погибнуть. Не знаю, добрались ли, спаслись ли... Трудные были времена. Может, и умерли все, упокой Аллах их души.

Кайрат:

– У меня еще есть веселое. Посмотри, может, тебе легче станет?

Включил «Ну, погоди!». Там волк за зайцем бегают туда-сюда, без отдыха. И тоже страдает серый: то упадет откуда-то с высоты, то трактор на него наедет или каток.

Бабуля:

– И что тут смешного? Он же от боли чуть не плачет! Не хочу. И где такое только делают?

Кайрат:

– В России, бабушка.

Бабуля:

– А-а-а, знаю. Там мои братья воевали. Ни один не вернулся. Фашистов били. Слушай, а это далеко – Россия?

Кайрат достал откуда-то учебник по географии старенький:

– Вот она. Близко, всего полпальца по карте, если руку приложить.

Бабуля:

– Интересно как. Никогда не видела. Я из нашего аула ни-

куда не выезжала.

Кайрат (*с надеждой*):

– Хочешь американское посмотреть?

Бабуля:

– Это откуда?

Кайрат:

– Западное.

Бабуля:

– Ну что ж, давай.

Поставил Кайрат «Тома и Джерри». Бабушка опять тяжело вздохнула и попросила выключить. Села, задумалась.

– Как странно устроен мир, нет в нем мира и порядка. На север пойдешь, там волка бьют, на запад, там коту больно, на восток взглянешь, там лиса убивают... Нет в мире добра: иди на все четыре стороны, и всегда найдется тот, кому горестно. И мне сейчас тяжело дышится. Подумать только, зверятки эти напомнили то, что, кажется, давно отболело, а вот опять же...

Она сложила все кассеты в стопочку и накрыла теплым одеялом, чтобы все зверята спали спокойно и не мерзли. А еще она запретила их включать. Чтобы никому больно не делать. Пусть лучше добрые сны видят, чем так носиться друг за дружкой и страдать. И чего смешного в том, что кого-то мучают! Ничего!

А еще украдкой дула на этот черный пластик, чтобы боль утихла...

Мы с Кайратом смеялись: неужели она считает, что они там живые? Вот оно, чудо искусства! Надо же, как она поверила во все эти картинки! Это же просто феномен психологический!

Бабуля так и не включала больше видеомаягнитофон и телевизор.

Никогда.

И кто знает, может, она знала о чем-то таком больше, чем мы?

То, о чем нам никогда не догадаться.

Не знаю, вот сижу и думаю. Ничего делать не могу.

Только думаю.

Совсем как бабуля.

Человек-амфибия отправляется в космос

У меня была мачеха. Когда я была маленькая, то вместо детсада ходила с ней в кинотеатр, где она работала киномеханицей.

Я была счастливейшим ребенком. Еще бы – просыпаться, засыпать в кино, есть там, там же играть и смотреть-смотреть-смотреть. Все фильмы подряд, круглыми сутками.

«Роман с камнем», «Полет навигатора», «Кинг-Конг», «Кинг-Конг жив», «Любовь и голуби» и так далее...

А еще старое европейское кино, например «Тарзан», черно-белый, с пловцом. И вечно тонущий «Чапаев».

И, конечно, японские мультики.

Но это все меркло и блекло перед индийским кино. Яркие наряды, пестрота в кадре, каждую секунду что-то происходит, кто-то, танцуя, умирает, а кто-то, танцуя, убивает. Пули резиновые, а машины картонные.

Игра, это была игра, настоящая. И верилось, и любилося, и горело все внутри. О, сколько слез я выплакала на этих киносеансах.

Помню, однажды мачеха, все-таки не выдержав, сказала мне:

– Ну, это же просто кино!

– Не трогайте меня! – закричала я. – Не мешайте плакать.

От просмотра кино круглыми сутками, с середины к началу, от начала к середине и с конца к началу, с начала до конца... в моей голове персонажи стали перепутываться, сюжеты переплетаться, и возникла привычка всё смешивать в кучу.

Мы во дворе играли некоторое время в «Рабыню Изауру» и «Санта-Барбару», но потом это надоело и на смену пришли мои сериалы, свежепридуманнные, изобретенные на ходу.

Тарзан спасал Гиту и Зиту, а они мчались вызволять Кинг-Конга, им на помощь приходили Чапаев с Чебурашкой. Но не тут-то было, на их пути возникал Фантомас вместе с Геббельсом и устраивал взрыв. Но Айвенго и так далее... (Остановите меня, кто-нибудь!!! Я сейчас взорвусь от переполняющих меня воспоминаний.)

Дети носили меня на руках. Они почему-то с большим удовольствием играли в этот бред. Причем если у нас было два или три друга, желающих сыграть человека-амфибию, спасающего Красную Шапочку, то я придумывала так, чтобы всем троим было чем заняться и все трое могли бы играть этого самого человека-амфибию.

Боже мой, родители моих друзей жаловались на меня, что я морочу детям голову, что из-за меня они бросили нормальные игры типа прятков, догонялок или что там еще такое есть, и что это за странные фантазии? Почему вдруг Чапаев оказывается девочкой?

– Ну, потому, что Яна захотела играть Чапаева.

– А почему у Чапаева родился верблюд?

– А потому, что он мутант!

– Кто, верблюд?

– И он тоже. Дело в том, что он оказался на заводе, где случился химический взрыв, ядерные отходы полились на Чапаева, и он стал мутантом. И родил верблюда.

– А почему именно верблюда?

– Потому что зайца как-то несолидно, а медведь не помещается в Янкин подол, а как же Чапаев может родить, если он не был беременный. А, он стал не мутантом, он стал инопланетянином! Вернее, мутантом-инопланетянином! Просто, понимаете, Яна хотела, чтобы и дочери-матери, и Чапаев.

– ООО! – стонали не любящие меня взрослые и отползали на далекое от меня расстояние. Это было слишком.

Одна наша соседка упорно требовала, чтобы меня отвели к детскому психотерапевту. У девочки точно не все в порядке с головой! У нее, вероятно, шиза! Ее нужно в психушку, и до конца дней!

Бедная моя мачеха, она так любила меня и все равно во-дила к себе на работу, а больше было некуда, и я смотрела свои любимые фильмы.

А во дворе меня подстерегали ребята, которые ждали с нетерпением, когда же человек-амфибия полетит в космос и встретит там Навигатора, помните, того самого из «Полета навигатора».

Играть вместе нам запретили, спасибо соседке, которая распространила по всему дому, что я психически больной ребенок и меня надо на веки вечные закрыть! Поэтому нам пришлось изобрести конспиративные методы. Мои истории передавались из уст в уста (ну не умела я тогда записывать), от одного к другому. К словесному ряду предполагался изобразительный, всякие картинки, секретные предметы. При чем можно было легко добавить и свою линию, своего персонажа и свои картинки. Можно было менять: как хочешь, что хочешь.

А потом кто-то из старших детей, из школьников, стал записывать все это. И понеслась! Мы рисовали, писали на стенах, на газетах, тетрадках. У нас появилась собственная история.

Мы были как первые дикари, жившие в каменном веке, открывшие, что на камнях можно изображать. Счастью не было предела.

Мы все выросли. Наши жизненные пути разошлись, но в памяти все равно остается наша любимая игра.

Наскальная живопись неразрушима. Это та самая рукопись, которая не горит!

Я протянула ему в подарок отрубленную руку

*У меня есть еще одна короткая история!
Посвящается всем девочкам любого возраста от 0
до 100!*

Итак, дело было под Новый год, когда все ребята в школе готовились к елке. Я тоже готовилась, хотела прийти в костюме снежинки. Училась я тогда в первом классе. И вот с утра вымыла шею, уши, сижу, рисую красками и жду, когда будет уже пора пойти. Часы тикают, дядя, который должен был меня отвести, занят, он цирковой артист, сидит жонглирует, репетирует.

И вроде все прекрасно, но... предательская краска капнула на мое белое платье, и вот кровавая клякса испортила костюм снежинки. Слезы, рев, горе.

– АААА!!! – примерно так.

И ничем не отстирать.

Дядя обнял меня и сказал:

– Зачем быть сорок третьей снежинкой на елке! Давай ты будешь первой и единственной девочкой-маньяком! Ты будешь самой красивой на свете серийной убийцей!

Мы радостно испачкали кровавыми пятнами мое белое трогательное платье с кружевами, белые гольфики и даже

бантики на моих косичках были в крови. Лицо вымазали тоже. Дядя с восторгом вручил мне кухонный нож, я была в восхищении. Мы придумали историю про то, как я, первоклашка, нападаю на разных там людей, которые мучают бедных бездомных животных, и кромсаю мучителей жуткими кромсаниями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.